

Учебник-хрестоматия
часть 1

В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

9

класс



ДРОФА

В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

9

класс

*Учебник-хрестоматия
для общеобразовательных учреждений
В двух частях*

Часть 1

*Под общей редакцией
А. Г. Кутузова*

Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации

8-е издание, стереотипное



ДРОФА
Москва • 2006

УДК 373.167.1:82
ББК 83.3я72
В11

Авторы-составители:

**А. Г. Кутузов, А. К. Киселев,
Е. С. Романичева, В. В. Леденева**

В мире литературы. 9 кл. В 2 ч. Ч. 1 : учеб.-хрестоматия для
В11 **общеобразоват. учреждений / авт.-сост. А. Г. Кутузов, А. К. Киселев, Е. С. Романичева и др. ; под ред. А. Г. Кутузова. — 8-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2006. — 318, [2] с. : ил.**

ISBN 5-358-00950-7 (ч. 1)

ISBN 5-358-00949-3

Учебник-хрестоматия входит в комплект пособий, обеспечивающих литературное образование в 5—11 классах общеобразовательных средних учебных заведений на основе государственного стандарта. В составе комплекта выпускаются методические рекомендации «Как войти в мир литературы».

Методический аппарат учебника-хрестоматии ориентирован на формирование литературно-художественных умений и развитие творческих способностей учащихся.

**УДК 373.167.1:82
ББК 83.3я72**

**ISBN 5-358-00950-7 (ч. 1)
ISBN 5-358-00949-3**

© ООО «Дрофа», 1999
© ООО «Дрофа», 2005, с изменениями



ПРОЛОГ

САМОЗАХВАТ

Естественно-разговорное представление¹

Действующие лица

Проша, книжонок.
Иван Калиныч,
профессор.
Путник, научный
сотрудник.

Маша } вечные
Сереза } шестиклассники.
Автор-интерпретатор,
лицо собирательное.

Все действующие лица, кроме Автора, как видно, давно собрались и чего-то ждут. Обстановка весьма нервная. Каждый проявляет нетерпение по-своему. Наконец молчание прерывает
Иван Калиныч.

Иван Калиныч. Друзья мои! Автор, как и следовало ожидать, опаздывает. Пока его нет, нам надо выработать общую тактику.

Проша. Общую что?

Сереза. Тактика — это часы с задним ходом. Нетик-так, а так-тик...

Путник. Сейчас не до шуток. Проша, нам надо серьезно поговорить с Автором. Наши друзья-ученики

¹ *Естественно-разговорное представление* — особый жанр драматического искусства, придуманный известным шутником и мистификатором Козьмой Прутковым (было бы очень интересно, если бы кто-нибудь из учащихся сделал сообщение об этом «авторе»).

уже в девятом классе, а мы? Застрали, кто в пятом, кто в шестом.

М а ш а. Обидно! Все девчонки уже на дискотеки ходят, макияж наводят, а мы с Сережкой сидим в шестом классе, как два вечных второгодника.

П р о ш а. Мой дедушка такую песню народную пел: «Позабыт, подзаброшен с молодых юных лет...» А подзаброшен — это брошен под забор?

П у т н и к. Это брошен на произвол судьбы. Правильная песня. Она отражает мое душевное состояние. Когда появится этот самый Автор, я ему так и скажу...

М а ш а. Только плохими словами не говорите!..

П у т н и к. Тогда я молча, с презрением посмотрю ему в глаза. А потом скажу...

И в а н К а л и н ы ч. Нет-нет, друзья мои, говорить буду я. Вы еще молодые, вспыльчивые, а я человек пожилой...

С е р е ж а. Вгрязливый...

И в а н К а л и н ы ч. Выдержанный. С Автором надо говорить твердо, но вежливо. Я от имени всех нас, героев учебников «В мире литературы», предъявлю ему меморандум.

П у т н и к. Лучше ультиматум.

М а ш а. Иван Калиныч правильно говорит. Пусть он выскажет наше возмущение, а мы будем молчать, а то получится сумасшедший дом.

С е р е ж а. А сейчас у нас что?

Появляется А в т о р. Он странно выглядит: очки, борода, лысина, косички с разноцветными бантиками, клипсы, мужской пиджак, галстук, юбка, туфли на высоком каблуке, дамская сумочка. Говорит то мужским басом, то женским голосом.

А в т о р. Извините, извините, извините! Встретила подругу, заболталась... выезжал из гаража, помял крыло... в издательстве так трудно что-то доказать... Эти часы почему-то всегда отстают, так и от жизни отстанешь. Руки не целуйте, профессор, я этого не люблю... Здорово, ребята!..

И в а н К а л и н ы ч (*старательно скрывая изумление*). Мы, э-э, рады некоторым образом приветствовать Вас и наконец-то познакомиться с некоторым образом, э-э, человеком, который имеет к нам всем некоторое отношение, хотя мы представляли Вас некоторым образом не совсем... э-э, таким, каким мы Вас некоторым образом представляли, поэтому как бы позвольте...

А в т о р. Ну-ну?

С е р е ж а. В общем, давайте знакомиться. Это Иван Калиныч и Проша из пятого класса, это Путник, я — Сережа, а это моя непутевая сестра Машка из шестого класса.

А в т о р. А я Автор. Но в сторону церемонии! Мы хоть и не встречались до сих пор, но знаем друг друга прекрасно.

И в а н К а л и н ы ч. А здесь позвольте уточнить. Это Вы нас знаете, а мы Вас — нет. И это очень печально. Собственно, мы и собрались, чтобы обсудить наши с Вами отношения. Вопрос назрел. Он некоторым образом перезрел и может упасть на голову с далеко идущими последствиями.

А в т о р. А в чем дело? Дело-то в чем?

И в а н К а л и н ы ч. А в том, что мы остались не у дел. Мой юный друг Проша, Маша, Сережа и Путник — все мы остались в своих учебниках, а ребята ушли вперед, они уже в девятом классе. А как же мы? Должна же в конце концов быть какая-то моральная ответственность! Кто нас придумал? Вы. Мы некоторым образом Ваши дети, а бросать детей...

М а ш а. Знаете, как чувствует себя брошенная девочка?

А в т о р. Знаю!

П р о ш а. А как чувствует себя осиротевший книжонок? Вот будете старенький, останетесь один как перед...

А в т о р. Как перст.

П р о ш а. Тем более.

А в т о р. Друзья! Позвольте уж называть вас друзьями. Вы жестоко ошиблись. Я вас прекрасно понимаю

и разделяю ваше возмущение. Вся штука в том, что я такой же, как вы!

В с е. Нет!

П у т н и к. Вы поняли, что сказали? Такой же, как мы... Вы в зеркало-то смотрелись?

П р о ш а. Ну ладно, пусть я домовенок. Но я считал, что меня придумал нормальный человек...

А в т о р. Да не человек я, не че-ло-век, поймите вы наконец!

В с е. А кто?

А в т о р. Я персонаж учебников для седьмого и восьмого классов, хоть и называюсь Автор. Я — плод фантазии. И придумали меня те же люди, что и вас. Только в меня они хотели вложить все лучшее, что есть в них. Видите, что получилось? Они это называют «собирательный образ». Тоже мне сборщики. Им картошку собирать, а не лица. А знаете, какое полное имя они мне дали? Автор-интерпретатор!

П у т н и к. Да-а... А гражданство с таким именем какое? Интернетовское?

А в т о р. Вот-вот. Так что у меня тоже претензии к этим самым авторам. К настоящим то есть, к людям. Давайте объединим усилия?

И в а н К а л и н ы ч. А что Вы предлагаете?

А в т о р. Я предлагаю самозахват! Мы с вами должны занять достойное место в учебнике для девятого класса. Любой учебный год начинается с повторения, так? А кто лучше нас поможет ребятам повторить пройденное? Мы и только мы. Вот тогда они поймут, вот тогда они оценят, и станет им стыдно, и посыплют они головы пеплом, и взговорят они жалобным голосом: «Простите нас, неразумных, обещаем исправиться и никогда, никогда не забывать о братьях наших меньших...» О нас то есть. Но не размягчатся наши суровые сердца! Проша, ты по какому вопросу плачешь?

П р о ш а. Размягчатся, размягчатся!..

А в т о р. Тогда голосуем. Кто «за»?.. Есть полный консенсус! Ну что же, шутки в сторону, принимаемся за работу...



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

ЖАНРЫ

*Занятие ведут профессор Иван Калиныч
и книжонок Проша*

И в а н К а л и н ы ч. Проша, ты помнишь, что такое жанр?

П р о ш а. А как же! Мы весь пятый класс только тем и занимались, что читали произведения разных жанров.

И в а н К а л и н ы ч. Ну, не только этим. И как же ты понял, что такое жанр?

П р о ш а. Это очень просто оказалось. Разные жанры, как сорта хлеба. Булочки, рогалики, маковники, сухарики, подовый, крестьянский, орловский, бублики, баранки, сушки, сметанники, лаваш-малаш...

И в а н К а л и н ы ч. Стоп, стоп, стоп! Ну и что?

П р о ш а. Все это хлеб, то есть из зерна, из муки. Только где-то мука пшеничная, а где-то ржаная, здесь дрожжей побольше, там поменьше, здесь в одной форме хлеб запекают, там в другой. В общем, везде хлеб, только в разных жанрах. Я еще могу примеры привести.

И в а н К а л и н ы ч. Больше не надо. Ты лучше вернись к литературе.

П р о ш а. Я же про литературу и говорю. Вся литература из одного теста сделана. А почему я про тесто? Нет, я про тексты. Каждый литературный текст относится к какому-то жанру. У фольклора тоже свои жанры. Я про деревья скажу...

И в а н К а л и н ы ч. Ну деревья-то тут при чем?

П р о ш а. Очень даже при чем. Это такое сравнение. Растет волшебное дерево в волшебной земле. Эта земля — творчество.

И в а н К а л и н ы ч. Земля в смысле почва? Я бы уточнил, что творчество — верхний слой, плодородный. А корни твоего дерева уходят глубже — в жизнь. Ведь искусство — это соединение жизни с фантазией, тогда и

получается художественный вымысел, питающий волшебное дерево искусства слова.

Пр о ш а. Да. И первым делом выросла на этой почве дикая яблонька фольклора — устного народного творчества. Она начала расти давным-давно, когда люди еще читать-писать не умели. Она росла, и от ее ствола отходили новые ветви.

И в а н К а л и н ы ч. Я понял, к чему ты ведешь. Эти ветви — жанры?

Пр о ш а. Да! Одна ветвь — былины, другая — песни, третья — загадки...

И в а н К а л и н ы ч. Подожди, Проша. Сейчас самое время остановиться и дать ребятам задание.

Пусть оно не покажется вам детским. **Нарисуйте фольклорное дерево, чтобы получилась система жанров. Не заметили ли вы закономерности в историческом развитии жанров фольклора?**

И в а н К а л и н ы ч. А как с литературой, Проша?

Пр о ш а. Когда люди стали грамотные, ученые, они решили дикую лесную яблоню превратить в садовую, чтобы яблоки она давала сладкие и сочные. Эти люди — писатели, а садовая яблоня — литература.

И в а н К а л и н ы ч. На которой растут булки...

Пр о ш а. Какие булки?

И в а н К а л и н ы ч. Ты же сам сравнивал жанры с разными сортами хлеба!

Пр о ш а. Ну что Вы смеетесь, Иван Калиныч? Я же хотел объяснить понятнее, как лучше старался.

И в а н К а л и н ы ч. Не обижайся, Проша. Я просто хотел напомнить старую пословицу: «Всякое сравнение хромает». Кстати, пословица — какой жанр, фольклорный или литературный?

Пр о ш а. Конечно, фольклорный!

И в а н К а л и н ы ч. А как быть с пословицами, которые пришли из литературы, из басен например? Вот мы говорим: «Счастливые часов не наблюдают», — а это строка из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Или, видя сумятицу, хаос, неразбериху, пользуемся фразой Льва Толстого из романа «Анна Каренина»: «Все смешалось в доме Облонских».

Приведите примеры пословиц и поговорок. К литературе или фольклору вы их отнесете?

И в а н К а л и н ы ч. Твое сравнение, Проша, фольклора и литературы с дикой, лесной и садовой, окультуренной яблонями показалось мне удачным. Оно подчеркивает, что литература ведет прямое происхождение от фольклора. Даже система литературных жанров во многом повторяет фольклорную. Есть народные сказки и есть литературные. Существуют народные баллады — созданы и литературные. Лирические стихотворения ведут свою родословную от народной песни. Но многие литературные жанры не повторяют фольклорные жанры, а развивают и изменяют их. Например, в основе литературного жанра романа сразу несколько фольклорных: и забавные устные рассказы-анекдоты, и эпические повествования о героях древности, и баллады. Разумеется, литература заимствует и использует не только фольклорные жанры, но и фольклорные сюжеты, фольклорных героев, художественные средства устного народного творчества. Например, автор пишет о своем герое: «Его взгляд затуманился», — и эта расхожая метафора идет из фольклорной древности, когда параллелизм (отождествление душевного состояния человека и природного явления) был главным приемом, позволяющим описать переживания человека.

П р о ш а. Точно! Мне бабушка пела такие песни. Они как бы из двух частей состоят. В первой части поется: «Мимо садику, мимо виноградного пролетал соловей, пролетал молодой, позади его канареечка да молоденька...» И канареечка просит соловья остаться, не улетать. А вторая часть начинается так: «Мимо терема да высокого, да высокого проезжал тут мил сердечный друг, мил сердечный друг. Позади его красная девица, красная девица...» Получается, что один и тот же сюжет идет параллельно — в природе и в человеческой жизни. «Взгляд затуманился» — это значит, что человек задумался, загрустил, будто настает вечер и наползают на землю густые туманы...

И в а н К а л и н ы ч. Совершенно верно, Проша. И литература, и фольклор — это искусство слова, словесность. Но литература появилась тогда, когда фольклор, пользуясь твоим сравнением, был уже могучим деревом, с множеством ветвей-жанров, с пышной кро-

ной — сюжетами, героями, образами, крепкими корнями, уходящими в мифологию народа. Например, в «Повести временных лет» объясняется происхождение некоторых поговорок и пословиц, в качестве исторического факта приводятся устные предания — тоже фольклорный жанр, а княгиня Ольга, желая отомстить древлянам за смерть своего мужа, запутывает послов хитрыми загадками. Освобождение князя Игоря из половецкого плена в «Слове о полку Игореве» выглядит как бегство сказочного героя, оборачивающегося то птицей, то зверем. Каждый литературный жанр имеет свою судьбу. И очень часто его судьба неразрывно связана с фольклором.



Вопросы и задания

Какие из жанров русской литературы напрямую связаны с фольклором?

Какие традиции, кроме фольклорных, легли в основу того или иного литературного жанра? Приведите примеры литературных произведений.

Решите для себя, о каком фольклорном или литературном жанре вам интереснее рассказать, и составьте памятку-схему «Приметы жанра (сказки, былины, лирического стихотворения, басни, романа и т. д.)».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ

Занятие ведут Маша, Сережа и Путник

М а ш а. Сережа, ты помнишь, какие стихотворения о литературных родах мы писали?

С е р е ж а. Еще бы! Я написал:

У Змея Горыныча — три головы,

В литературе — три рода:

Эпос, лирика, драма, — а вы

Знайте об этом в любую погоду!

А у тебя что-то кондитерское получилось.

М а ш а. Я короче написала:

В литературе, как в торте у мамы,

Три слоя: лирика, эпос и драма!

А краткость, между прочим, сестра таланта.

Сережа. Правильно, ты моя сестра.

Путник. А вы помните, чем литературные роды отличаются друг от друга?

Маша. Я помню. Лирика — это стихи. Эпос — это всякие там романы, рассказы, повести. А драма — это то, что ставят в театре.

Сережа. В театре ставят стулья.

Маша. А ты-то знаешь?

Сережа. Думаешь, ты одна такая умная? Знаю. Лирика происходит от лиры. Это был такой древний инструмент, вроде карманной арфы, под него песни пели. Помнишь, мы его в Древней Греции видели? А эпос — это сказания про древних героев, богатырей, рыцарей.

Путник. Да-а, не густо. Хотя в чем-то вы оба правы.

Сережа. Вот не ожидал! Это Вы нас как бы хвалите?

Путник. Именно как бы. Давайте еще раз вспомним, что такое литературные роды, а для этого оттолкнемся от ваших высказываний.

Маша отметила, что каждый литературный род имеет свою систему жанров. Больше всего эпических, или, как мы их еще для ясности называли, повествовательных жанров: от маленьких басен, анекдотов до величественных эпопей и эпических поэм.

Лирических жанров раньше тоже было много: в европейской поэзии это баллада, идиллия, ода, поэма, романс, рондо, сонет, элегия, всем известная песня; из восточной поэзии к нам пришли такие жанры, как танка и хокку, рубай и газель. Я назвал лишь малую часть жанров лирической поэзии. Некоторые жанры имели твердую форму, то есть стихотворный размер и систему рифмовки, которые нельзя было нарушить. Другие предполагали определенное содержание. Например, сонет должен состоять из 14 строк, рубай — из четырех, причем одинаково рифмуются первая, вторая и третья. Идиллия предполагала описание мирных радостей сельской жизни, мадригал — воспевание возлюбленной, элегия — грустное размышление о скоротечности человеческой жизни...

В современной русской лирике уже нет такого разнообразия жанров, господствуют лирические стихотворения, лирические поэмы и песни. Зато и граница между эпосом

и лирикой стала сегодня довольно зыбкой: появились стихотворения в прозе, лирические романы, в которых главную роль играет уже не сюжет и вымышленные герои, а образ автора или рассказчика. Вообще сейчас популярны «пограничные» жанры, то есть находящиеся на границе художественной и документальной литературы, лирики и эпоса. Это автобиографическая проза, мемуары, дневники, эссе — жанр свободного размышления на какую-то тему. А лирика все больше освобождается от «поэтического плена» — от ритма и рифмы, и современный свободный стих больше похож на прозу, чем на поэзию.

Впрочем, мы увлеклись. Этот разговор мы перенесем на более позднее время, хорошо?

С е р ж а. Хорошо. Если уроки можно отложить, я всегда «за». Только Вы еще не сказали, в чем я прав. Машка, понятное дело, примерная ученица, а я беспримерный ученик. Значит, я тоже что-то правильное сказал?

П у т н и к. А ты прав в том, что каждый литературный род, так же как и жанр, имеет свою историю. Лирика с самого начала была связана с музыкой. В фольклоре нет чисто лирических стихотворений, как в литературе. Ведущий жанр народной лирики — песня.

Эпические произведения названы так потому, что слово «эпос» по-гречески значит «повествование», «рассказ», и первые эпические произведения — это сказания о героях. Как правило, это были большие произведения: «Илиада» и «Одиссея», русские былины, «Песнь о Нибелунгах», ирландские саги и т. д. Все они возникли на основе мифов своего народа. Повествование о героях, или героический эпос, — это память народа, образец для подражания, урок последующим поколениям. А затем повествовательные фольклорные жанры стали меньше по объему, они рассказывали не только о героях и их деяниях, а все чаще — об обычных людях и их быте, иногда даже представляя их в смешном свете. Так появляются побасенки, анекдоты, рассказы-притчи, разного рода устные рассказы — «случаи» и «истории». К повествовательным фольклорным жанрам относится и сказка. А в литературе под эпосом понимаются сюжетные повествовательные произведения разных жанров — авторские сказки, басни, рассказы, повести, романы. Они изо-

бражают героев и их поступки, раскрывают связь между характером героя и обстоятельствами его жизни, показывают поведение героя в ситуации нравственного выбора.

В центре драмы — тоже герой, его столкновение (конфликт) с враждебными ему силами. В древнегреческих трагедиях, построенных на мифологических сюжетах, такой враждебной силой была судьба. Драма — синтетический род литературы, сочетающий слово и действие.

М а ш а. Ну вот мы все и объяснили.

П у т н и к. Нет, далеко не все. Я же сказал, что вы правы лишь частично, по-своему. Вы помните, как в шестом классе мы несколько раз сравнивали глаголы «изображать» и «выражать»?

С е р е ж а. Подождите! Я вспомнил! «Лирика выражает, эпос изображает» — так мы говорили?

П у т н и к. Почти так. Точнее, слово в эпическом произведении призвано изображать героев и их поступки, а слово в лирике выражает чувства и переживания автора. Слово в эпосе служит для изображения, лирическое слово — для выражения.

М а ш а. Эпос и лирика — это рассказ и чувство. Можно так сказать?

П у т н и к. Можно. А еще можно лирику сравнить с музыкой, где слова — это звуки. А эпос — с живописью, где слова — краски. В драме слово тоже изображает, но что оно может изобразить? Откройте драму — что вы увидите?

М а ш а. Одни разговоры. Ой, не разговоры, а диалоги.

П у т н и к. И монологи. Словом, речь. Драматическое слово изображает речь героя.

С е р е ж а. Мне все ясно. Неясно только одно: зачем это знать? Я, когда читаю, должен об этом думать — о роде там, о жанре?

П у т н и к. Когда читаешь, думать об этом не надо. А вот перед чтением ты о роде и жанре всегда думаешь, только сам этого не замечаешь.

С е р е ж а. Это как?

П у т н и к. Ты выбираешь книгу для чтения. На что ты смотришь?

С е р е ж а. Толстая или нет. Стихами или прозой. Еще открою в середине и немного прочитаю — интересно или нет.

П у т н и к. Другими словами, ты определяешь род и жанр: лирика или детективный рассказ, сказочная повесть или любовный роман...

С е р е ж а. Фу-у! При чем тут любовный роман? А вообще, я согласен.

М а ш а. То есть по роду и жанру мы уже представляем, о чем будет книга.

П у т н и к. Совершенно верно. Кроме того, род и жанр несут в себе законы литературного творчества, слагавшиеся веками. Представьте себе: вы не знаете, что такое шахматы, и вдруг видите, как два взрослых, серьезных человека с увлечением двигают фигурки по клетчатой доске. Что вы о них подумаете?

С е р е ж а. Что-нибудь несерьезное.

П у т н и к. Не зная законов жанра и рода, их происхождения, жанрово-родовых традиций, мы не сможем понять и не сможем оценить произведений древней и новой словесности, ведь знание — путь к пониманию. Согласны?

М а ш а. Да.

С е р е ж а. Вообще-то согласен.

П у т н и к. Тогда попробуйте ответить на мои вопросы и выполнить весьма сложное задание.



Вопросы и задания

К какому литературному роду и жанру относятся изученные вами ранее произведения А. С. Пушкина: «Зимнее утро», «Песнь о вещем Олеге», «Дубровский», «Сказка о царе Салтане...», «Птичка», «Барышня-крестьянка»?

Задание не для всех

Поэзия Пушкина отличается необычайным разнообразием жанров: в чем только не попробовал он свои силы! Мы предлагаем вам подготовить рассказ о происхождении и особенностях таких лирических жанров, как стансы, дружеское послание, сонет, элегия, стихи в альбом, ода, эпиграмма, баллада, песня, и о том, как воплотились эти жанры в бессмертной пушкинской поэзии. Вам потребуются не только сочинения Пушкина, но и словари литературоведческих терминов. Все пере-

численные нами жанры обозначены самим поэтом или в заглавии, или в подзаголовке стихотворений.

ЧЕЛОВЕК В ЛИТЕРАТУРЕ

Занятие ведет Автор

Вас, наверно, удивила неожиданная встреча со старыми друзьями из учебников для пятого и шестого классов. Задумана она не только для того, чтобы повторить пройденное. Нам хотелось, чтобы вы сами оценили, какой путь в познании литературы вами уже пройден. Вы уже поняли, что литература — не пыльный архив с выдвижными ящичками, на которых написано: род такой-то, жанр такой-то, а живое и сложное явление.

И вот в седьмом классе мы впервые в полный голос заговорили о том, что литература с течением времени изменяется. Изменяются даже такие устойчивые, вековые, традиционные формы литературы, как жанры. А если не изменяются, то умирают. Так, практически умер жанр былины. В последние лет пятьсот новые былины в общем-то не создавались. А вот анекдот изменялся, и сейчас это живой и популярный жанр народного творчества. А ведь раньше под анекдотом понимали забавный, но необязательно смешной случай из жизни какого-то знаменитого исторического деятеля. Так, Пушкин записывает такой анекдот о знаменитом Потемкине: «Потемкину доложили однажды, что некто граф Морелли, житель Флоренции, превосходно играет на скрипке. Потемкину захотелось его послушать: он приказал его выписать. Один из адъютантов отправился курьером в Италию, явился к графу М., объявил ему приказ светлейшего и предложил тот же час садиться в его тележку и скакать в Россию. Благородный виртуоз взбесился и послал к черту и Потемкина, и курьера с его тележкой. Делать было нечего. Но как явиться к князю, не исполнив его приказания! Догадливый адъютант отыскал какого-то скрипача, бедняка не без таланта, и легко уговорил его назваться графом М. и ехать в Россию. Его привезли и представили Потемкину, который остался доволен его игрою. Он принят был потом в службу под именем графа М. и дослужился до полковничьего чина».

Вот каким был анекдот во времена Пушкина. Но с этих пор жанр изменился, и сейчас анекдот — это, как правило, остроумная сценка, в которой участвуют условные персонажи, она включает короткий диалог, состоящий иногда только из двух реплик. Примеры вы, конечно, можете привести сами.

Сравнив анекдот эпохи Пушкина и современные анекдоты, сделайте вывод, в чем жанр остался неизменен и что появилось в нем нового.

В седьмом классе мы решили посмотреть, как проявилось развитие литературы в изображении человека. Ведь именно человек составляет для нас главный интерес в книге. Но в разные эпохи и у разных народов в фольклоре и литературе человек понимался и изображался по-разному. Например, в фольклоре каждому жанру соответствует своя группа героев. Есть герои былинные, есть сказочные, есть герои народных лирических песен. Но редко кто из них обладает индивидуальным характером. Не встретите вы и портретных описаний героев. Народное творчество создает не индивидуальные, а предельно обобщенные характеры. Образ богатыря из русской быliny в высшей степени схематичен, гиперболизирован и идеализирован. Гиперболизирован, потому что его физической силе, долголетию, количеству подвигов, скорости передвижения, крепости доспехов и весу оружия приданы фантастические размеры. Идеализирован, потому что воплощает в себе представление о богатыре: он — защитник Русской земли и христианской веры, он — слуга князя, он — верный товарищ, он — носитель рыцарской чести (это единственное качество, которое может стать причиной ссоры с князем или другими богатырями). Схематичен, потому что этими чертами его образ и ограничивается. Он интересен не как личность, а как исполнитель подвигов. В этом его предназначение, а оно определено законами былинного эпоса.

Сказочные герои — тоже исполнители. Каждому герою необходимо выполнить свою роль в сюжете. Своя роль у Ивана-царевича, своя — у мудрой жены, своя — у третьего сына (дурака) и т. д. Третьему сыну — дураку из русской сказки — везет («дуракам всегда везет»), потому что он не пытается спорить с судьбой, ловчить, как его старшие братья, а с дурацким упорством выполняет все задания, отпущенные ему судьбой.

Портрет героини из народной лирической песни — это не портрет живой, реальной девушки, а перечисление народных представлений о красоте: руки белые, ноги резвые, уста сахарные, брови соболиные, косы русые, очи ясные...

Литература на первых порах тоже не создает индивидуальных характеров. Вы согласитесь с этим, если вспомните героев древнерусской литературы. В понимании людей прошлого целью человеческой жизни было соответствие своему предназначению. А предназначение зависело от судьбы, от Бога. Поэтому святой — это тот, кто смог выполнить программу жизни святого. Отсюда все жития строятся по одной схеме, и все святые в житиях в главном похожи друг на друга.

Вот мы вспомнили основные особенности изображения человека в фольклоре и древней литературе.

Теперь вам пора самим продолжить мой рассказ.

А для этого давайте попробуем использовать особую форму урока — **семинар**. Под семинаром понимается такое учебное занятие, на котором под руководством преподавателя обсуждаются подготовленные студентами или школьниками сообщения и доклады на заданные темы.



Семинар

Человек и литература

Постарайтесь вспомнить прочитанные вами мифы, произведения устного народного творчества и литературы. Подготовьте сообщения-доклады о том, как в них создается образ человека, какие художественные средства используются.

1. Мифологический герой (Геракл, Гайавата, Кухулин).

Почему народ в своих поэтических сказаниях сохранил память об этих героях? Какие представления об идеальном герое воплотились в этих образах? Кому или чему служит герой? Каковы его взаимоотношения с богами? Какими событиями наполнена жизнь героя? Что становится смыслом и содержанием его жизни? Свободен ли он в выборе своих поступков? Чем похож он на богов и чем — на людей? Почему мифы не дают портрета героя?

Не забудем при этом, что мифы стали одним из самых мощных источников фольклора, в том числе героического эпоса и сказки.

2. Сказочный герой (на примере волшебных сказок «Два Ивана солдатских сына», «Царевна-лягушка», «По щучьему веленью», «Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды» — и далее по вашему выбору).

Есть ли в сказках указание на их недостоверность, вымышленность? Кто главные герои волшебных сказок по происхождению и положению? Можно ли говорить, что у них есть индивидуальные характеры? Какую роль играют в сюжете сказки нравственные качества героя? Кому или чему служит сказочный герой? Что становится испытанием и наградой главного героя? Для чего рассказывалась сказка? В чем отличие сказочного героя от мифологического? Какие художественные средства есть в арсенале сказок?

3. Русский былинный герой (на примере богатырских былин).

В чем состоит предназначение богатыря? Какие качества воплощены в его образе? Можно ли говорить о характере богатыря? Как создается образ русского былинного богатыря, какие изобразительные средства для этого использованы? Раскройте смысл многочисленных словесных повторений, эпической гиперболизации и идеализации?

4. Герой литературы средневековья (на примере «Жития Бориса и Глеба», «Жития Сергия Радонежского», «Повести о Петре и Февронии Муромских»).

Почему древнерусские авторы избегали индивидуализации в описании героев (отсутствие портрета, внутренней речи, душевных переживаний)? В чем видит смысл жизни герой древнерусской литературы? Какова роль идеализации и канонов в создании образа положительного героя? Роль сюжета как средства характеристики героя. Чем интересен древнерусскому писателю и читателю человек? Выделите фольклорные традиции в изображении человека в древнерусской литературе.



Творческий практикум

Надеюсь, первый семинар получился интересным и полезным, и вы еще раз убедились, насколько иным было понимание и изображение человека в произведениях древней словесности по сравнению с новой литературой.

А что это такое — новая литература? В России она начинается в XVIII веке, в странах Западной Европы на один-два века раньше. А новизна новой литературы заключалась прежде всего в том, что другим стал литературный герой. Представление о человеке изменилось. Теперь он стал пониматься не только как представитель какого-то сословия, не только как исполнитель предписанной ему жизненной роли, не только как игрушка в руках судьбы. Нет, теперь герой — человек мыслящий, часто внутренне противоречивый, способный не просто на поступок, а на нравственный выбор поступка. Человек может покориться судьбе, а может восстать. Человек подвластен Богу, но свою жизнь он определяет сам, потому что не Бог, а он, человек, выбирает между хорошим и дурным. Поэтому иначе создается образ человека в новой литературе. Все больше и больше писатели интересуются внутренним миром своих героев — мыслями и чувствами, душевными переживаниями, индивидуальными, только ему присущими чертами характера.

Давайте сопоставим два отрывка из русской народной сказки «Морской царь и Василиса Премудрая» и сказки В. А. Жуковского, созданной по тому же сюжету.

«Морской царь и Василиса Премудрая»	В. Жуковский «Сказка о царе Берендее»
«Идет Иван-царевич от морского царя, сам слезами обливается. Увидала его в окно из своего терема высокого Василиса Премудрая и спрашивает: — Здравствуй, Иван-царевич! Что слезами обливаешься? — Как же мне не плакать? — отвечает царевич. — Заставил меня царь морской за одну ночь сровнять рвы, буераки и каменье острое	«Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив, милый Иван-царевич?» — спросила она. «Поневоле будешь задумчив, — он ей отвечал. — Отец твой затеял новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой. Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже родом его. Кощей он бессмертный! Видали мы много этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же ты будешь делать?» — «Что мне

«Морской царь и Василиса Премудрая»	В. Жуковский «Сказка о царе Берендее»
и засеять рожью, чтоб к утру она выросла и могла в ней галка спрятаться. — Это не беда, беда впереди будет. Ложись с Богом спать: утро вечера мудренее, все будет готово!»	тут делать? Шить сапогов я не стану. Снимет он голову — черт с ним, с собакой! какая мне нужда!» — «Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста; я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся или вместе погибнем».

Как вы понимаете, вопрос будет связан со сравнением характеров героев.

В каком отрывке они проявляются ярче? За счет каких языковых средств происходит обогащение характеров?

Для изображения индивидуального человеческого характера потребовались и новые литературные приемы: внутренняя речь, отражающая строй мыслей и чувств героя, детализированный портрет, характеристика героя другими персонажами, пейзаж, помогающий раскрыть психологическое состояние человека. Центром сюжета становится нравственный выбор, который должен совершить герой.

Шекспир в трагедии «Гамлет» использовал старинный летописный сюжет о датском принце, который мстит своему дяде, захватившему ценой преступления королевский престол. Но у Шекспира Гамлет — это не просто мститель, это человек, вступающий в неравный поединок с мировым злом; это человек мятущийся, сомневающийся в своих силах и в своем праве на борьбу за справедливость. Даже тот, кто никогда не читал и не видел «Гамлета» на сцене, знает начальную строку монолога Гамлета «Быть или не быть — вот в чем вопрос?...». Это монолог-размышление героя, стоящего перед выбором — покориться судьбе или вступить в схватку с несправедливостью, обречь себя на гибель, но выполнить долг человека...

Надеюсь, что литературой вы занимались с интересом, а многие произведения читали с большим удовольствием. Поэтому вы наверняка сможете показать один из перечисленных приемов на примере любимого произведения.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

Занятие ведет Автор

Почему люди читают? Потому что книги говорят о двух вещах, которые по-настоящему волнуют их в этой жизни: о любви и смерти. Если хотите, вся мировая литература — «про любовь» и «про войну», и все сюжеты — бесконечные вариации на эти темы. Если вы не согласны с этим утверждением, то приглашаем вас к диспуту на творческом практикуме. Но пока вернемся к нашему разговору.

Мы знаем, что разные писатели часто используют один и тот же сюжет. А произведения получаются разные. Потому что литература — это не что написано, а как написано. И книги отличаются не тем, о чем они написаны, а тем, кто, когда и как написал. Вы по себе знаете, какое удовольствие перечитывать полюбившуюся книгу. Спрашивается, зачем? Ведь сюжет-то нам известен, мы знаем, что произойдет на следующей странице и чем все кончится. Значит, манит нас что-то другое, в чем-то другом мы видим радость новой встречи с автором и его героями, обаяние зачитанных страниц.

Еще одна тайна литературы в том, что нам близко и понятно то, что написано в давние времена. Литература — цепь, протянутая из прошлого к каждому из нас. Потянешь ее — и прошлое отзовется, волнения, беды и радости людей, вымышленных и описанных сотни лет назад, станут нашими. Звенья этой цепи неразрывны, потому что скреплены традицией, и потому не рвется связь времен — связь между людьми разных поколений. О традициях в литературе мы говорили в прошлом году. Значит, вы сможете последнее занятие по повторению пройденного провести сами. Я уверен: вы справитесь.

Семинар

Литературные традиции



1. Сопоставьте фольклорную с литературной сказкой, написанную по сюжету фольклорной.

Какие традиции устного народного творчества использовал писатель? Выделите фольклорные и литературные мотивы. Не забывайте при подготовке сообщения и то, как произведение написано.

2. Какие фольклорные традиции использованы в «Слове о полку Игореве»? Почему, несмотря на анонимность, это авторское, литературное произведение? Какие художественные средства вам особенно запомнились?

3. Какие традиции духовной литературы живут в светской русской литературе? (Покажите это на примере одного-двух изученных вами произведений русской литературы XIX—XX веков.)

4. Вспомните прочитанные вами в прошлом году произведения Д. Фонвизина, Г. Державина, Н. Карамзина. Как понимала и изображала человека русская литература XVIII века? В чем вы видите отличие в изображении человека древнерусскими авторами? Какие традиции древнерусской литературы унаследовала литература XVIII века? Выработала ли литература XVIII века свои традиции?

5. На примере двух-трех произведений раскройте понятие романтизма в литературе. В чем новаторство писателей-романтиков? (Примерный план ответа: идеалы и ценности в понимании романтиков; двоемирие; смысл обращения к таинственному и необычному; интерес к национальному прошлому; новизна в понимании и изображении человека, его отношений с окружающим миром; романтический герой.)

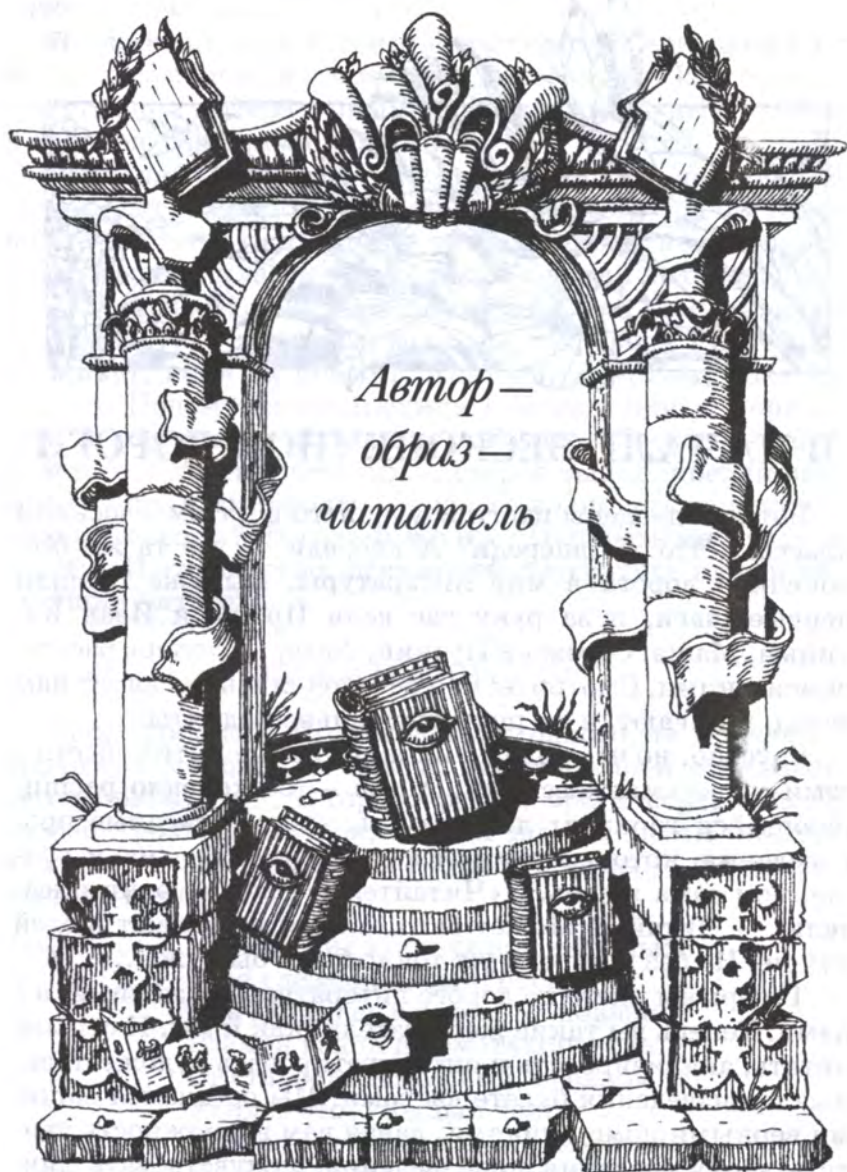
6. Реализм в литературе. Сопоставьте два литературных направления: реализм и романтизм. Покажите характерные черты реализма на примере одного-двух произведений. Чем объяснить интерес писателей-реалистов к теме «маленького человека»?

7. И наконец, самая сложная тема: проблема правды и правдоподобия в литературе.



Творческий практикум

Итак, существует утверждение, что вся мировая литература — «про любовь» и «про войну». Честно говоря, среди нас, авторов, единого мнения нет. Напишите развернутый план-конспект своего выступления. Не забудьте только, что ваше мнение необходимо обязательно доказывать. А главный аргумент, самое весомое доказательство, как вы помните, текст художественного произведения. Серьезным доводом может служить и мнение профессиональных читателей: критиков, литературоведов...





В НАЧАЛЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ДОРОГИ

Вот и подведены итоги изученного в пятом—восьмом классах. Что же впереди? А впереди — все та же бесконечная дорога в мир литературы. Вы уже прошли первые шаги, и за руку вас вели Проша и Иван Калиныч, Маша, Сережа и Путник, Автор. А теперь расстанемся с ними. Смотрите: они остановились, и глядят нам вслед, и кивают, и их руки прощально подняты.

Грустно, но что делать: их ждут новые пяти-, шести-, семи- и восьмиклассники. А нас — бесконечно расширяющийся горизонт литературы, художественные произведения, которые говорят нам о жизни больше и лучше, чем сама жизнь... «Читайте! — говорил один писатель. — Читайте! Может быть, книги не делают людей лучше. Но без книг они уж точно были бы хуже...»

Теперь вы идете по дороге литературы не за ними, а с нами. Теперь вы такие же читатели, как и мы. И отныне читать, анализировать и интерпретировать художественные произведения будете вы сами. Мы останемся вашими верными помощниками, давая вам возможность увидеть эпоху создания произведения, почувствовать личность автора, разобраться в переплетении литературных традиций. Но осмысление произведения и высказывание о нем, будь то в форме устного ответа, доклада или сооб-

щения на семинаре, сочинения-эссе или творческой работы — за вами.

В девятом классе нам предстоит сделать еще один шаг на пути познания и понимания литературы. Нас ожидает встреча с литературными шедеврами разных времен и народов, ставшими классикой.

Классика — это то, что живет и сегодня, независимо от времени создания. В новом учебном году мы постоянно будем отвечать на один и тот же вопрос: в чем секрет вечной жизни классических произведений литературы?

«Книги имеют свою судьбу, смотря по тому, как их принимают» — эта фраза родилась в Древнем Риме. Люди живут, пока их помнят. Книги бессмертны, пока их читают. Почему же сочинениям Гомера и Данте, Сервантеса и Шекспира, Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого и других великих мастеров выпал жребий вечной жизни, а их героям — счастье волновать сердца новых поколений? Трудный вопрос. Непростыми будут и ответы. И это здорово: настоящей литературе нужен настоящий читатель.

ЗАЧЕМ МЫ ЧИТАЕМ?

Шекспировский Гамлет просит одного из приезжих прочитать монолог из пьесы, повествующей о падении легендарной Трои. В городе резня, враги ворвались во дворец троянского царя, слепая жажда мести владеет ими. В монологе говорится о судьбе Гекубы — жены троянского царя:

Ужасен вид поруганной царицы:
Гася слезами пламя, босиком
Она металась в головной повязке
Взамен венца и обмотавши стан,
От старости иссохший, одеялом.
Увидев это, каждый человек
Изверился бы в правоте Фортуны
И проклял бы владычество судьбы.
А если б с неба боги подсмотрели,
Как потешался над царицей Пирр,
Кромсая перед нею тело мужа,

Спокойствие покинуло бы их.

Глаза бы их наполнились слезами

Из жалости к несчастной...

Один из зрителей восклицает, указывая на чтеца: «Смотрите, он изменился в лице и весь в слезах!..» А все из-за чего?

Из-за Гекубы!

Что он Гекубе? Что ему Гекуба?

А он рыдает.

Почему же рыдает актер, взволнованы зрители, потрясен Гамлет, хотя речь идет о давних и, может быть, вымышленных событиях, о легендарной Трое, о придуманных людях, о чужих судьбах? Что нам за дело? Наверное, потому, что в судьбе Гекубы кто-то видит отзвуки своей судьбы, кто-то — извечную несправедливость судьбы к человеку, но главное, что об этом сказано так, что зрители потрясены страданиями Гекубы, они сострадают, дрожит нить, протянутая от ее судьбы к судьбе каждого из нас... Это и есть искусство.

И когда вы будете читать «Гамлета», написанного сотни лет назад, то, наверное, так же взволнованно станете следить за словами и действиями датского принца, потому что ему, как и каждому из нас, надо мучительно выбирать между добром и злом, размышлять о жизни и смерти, чести и подлости... Гамлет живет в каждом из нас. А иначе — какое нам до него дело? «Кому какое дело было бы, например, до полоумных Лира или Дон Кихота, если б это были портреты чудаков, а не типы, то есть зеркала, отражающие в себе бесчисленные подобию — старом, новом и будущем человеческом обществе?» — заметил И. А. Гончаров. А другой великий русский писатель, И. С. Тургенев, сравнивая Дон Кихота и Гамлета, утверждал: «...все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов... почти каждый из нас сбивается либо на Дон Кихота, либо на Гамлета».

Классическая литература — не собрание музейных экспонатов. Она жила, живет и будет жить для всех

поколений, потому что она открывает в человеке общечеловеческое — понятное и близкое каждому, независимо от года и века рождения, от языка и цвета кожи.

ЗАЧЕМ МЫ ИЗУЧАЕМ ЛИТЕРАТУРУ?

Зрители испытали потрясение, слушая монолог о трагедии Гекубы. А вы, может быть, и нет. И скорее всего, потому, что, читая эти строки, вам не раз и не два встретились непонятные слова. То, что было ясно Гамлету и его образованным современникам без объяснений, далеко не всегда понятно сегодняшнему школьнику. Кто такие Гекуба, Пирр? За что последний мстит троянскому царю? Отсюда пошло выражение «пиррова победа». Что оно значит?

Чтобы оценить красоту литературного произведения, чтобы сквозь частокол непонимания прорвались живые человеческие чувства, надо знать, что скрыто за «трудными» словами, надо знать, по каким законам строится художественный текст. За монологом актера — древнегреческая история и мифология, гомеровский эпос о Троянской войне, современная Шекспиру драматургия, часто использовавшая античные сюжеты, сам Шекспир, применивший в «Гамлете» излюбленный прием «театр в театре»... И все это надо знать.

Для этого мы изучаем литературу. Отказываясь от знаний об искусстве, мы отказываемся от лучшего, что есть в искусстве. Ведь непонятное — неинтересно.

Да, чтение — труд. Труд, приносящий радость творчества. Чтение — диалог читателя с автором. Диалог идет на языке художественных образов. Понять и истолковать эти образы — значит, понять то, что через века и страны говорит нам писатель.

«Автор — образ — читатель» — так мы называли наш учебник. Писатели и их книги всегда готовы к разговору. Они ждут только одного: чтобы вы, читатели, сделали шаг навстречу.

СНОВА ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Мы говорим на разных языках, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются.

*М. Булгаков.
«Мастер и Маргарита»*

В природе драгоценные камни не блестят, не бросаются в глаза, и только опытный взор увидит в куске необработанной породы сказку земли. А гранильщик помогает невзрачному камню, испытав его на прочность, засверкать всеми гранями. Таков и труд читателя. Литературное произведение, как и камень, нуждается в обработке. Без читателя оно молчит, оставаясь пачкой сшитых листов. А заговорит с тем, кто умеет спрашивать, кто знает и чувствует, когда, о чем и как надо спросить.

Говорят, что литература отражает жизнь. Но и зеркало отражает жизнь. Литература все же не зеркало, а скорее зазеркалье, где все может быть как в жизни и все-таки совсем не так. Поэтому, наверное, настоящее чтение — увлекательнейшее занятие. Ведь на каждом шагу — загадки. Вот только отгадок в искусстве больше, чем загадок. И часто на один и тот же вопрос можно дать несколько ответов, и все они будут вполне правильными.

Все мы читаем одни и те же слова, одинаково переживаем за героев, одинаково ждем, чем все закончится, радуемся или огорчаемся в финале... Это называется **восприятием**. А вот понимаем и оцениваем прочитанное мы вовсе не одинаково, каждый по-своему. И когда мы пытаемся пересказать и объяснить свое понимание, получается **интерпретация**.

Интерпретация — это оценка, толкование, трактовка произведения или отдельных его частей (эпизодов, образов, деталей) в форме аргументированного, доказательного высказывания. Подчеркнем: аргументированного. Простой оценки («мне книга понравилась» или «не по-

правились») здесь недостаточно, хотя, конечно, желание говорить о произведении начинается именно с нее. Интерпретация и есть разговор с автором, его книгой, с самим собой — ведь надо разобраться в своих эмоциях, почему мне нравится или не нравится. В результате получается диалог с другими читателями, будь то учитель или одноклассник, критик или автор фильма по этой книге.

Интерпретация — это всегда «перевод» произведения с одного языка на другой. С художественного, образного — на общедоступный. Конечно, этот перевод никогда не бывает точным и полным. Но он показывает уровень понимания произведения.

Текст сам помогает нам: в нем рассыпаны бесконечные «почему?», отвечая на которые мы поднимаемся по дороге понимания.

Таких «почему?» и у нас в учебнике много. Мы считаем, что самое интересное — самому их увидеть, попробовать себя в роли исследователя-интерпретатора. Это и есть, на наш взгляд, трудная ступенька к высокому званию настоящего читателя, способного разгадать послание создателя произведения к своим читателям-соавторам. Причем не только современникам, но и потомкам. Ведь главные человеческие ценности — вера, надежда и любовь — несмотря ни на какие испытания, вечны.

Это наше мнение. А ваше?

ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ

В истории общественной мысли и в истории литературы как ее части долгое время господствовал взгляд на прошедшую эпоху как на некую ступеньку, которая ведет к эпохе последующей. Получалась очень своеобразная лестница: чем выше, тем лучше и точнее. При всей внешней логичности такой подход, по нашему мнению, страдает однобокостью. Судите сами: если литература Возрождения передала все самое ценное литературе эпохи Просвещения, то зачем же тогда обращаться

к Возрождению? Эта логика приводит к тому, что читать в XX веке произведения, созданные ранее, нет никакой необходимости: все самое лучшее и важное вслед за временем переходит из одной эпохи в другую. Получается нонсенс, нелепость. Точнее говоря, разрушается сама основа культуры. Поэтому мы хотим, чтобы вы осознали очень важную **особенность художественной культуры**: каждая эпоха не только что-то передает последующей, какую-то часть открытий, но, что очень важно, сама является самостоятельно значимым целым. Давайте постараемся представить это в зрительных образах, обратившись, например, к архитектуре.

Архитекторы накапливают от эпохи к эпохе знания и опыт сооружения зданий: жилых домов, дворцов, храмов и т. д. Так вот, принципы, способы строительства — это то, что одна эпоха передает другой. А вот как выглядит дворец XVIII века — это уже самостоятельная культурная ценность, которая принадлежит как эпохе XVIII века, так и нашему времени. Ведь восхищались его красотой и гармонией люди на протяжении всех веков его существования. Если не будет у человека этих представлений, если он не будет воспринимать прошедшее неотъемлемой частью настоящего, человечество потеряет память и душу, те самые вечные ценности, о которых мы говорим с вами все годы нашего общения.

Поэтому, пожалуйста, когда будете читать величайшие произведения эпох минувших и века нынешнего, не забывайте об этой важнейшей особенности художественной культуры.





СРЕДНИЕ ВЕКА: ЭПОХА РЫЦАРЕЙ ИЛИ ПОЭТОВ?

Когда мы говорили об интерпретации, то подчеркивали, что она должна быть аргументированной и доказательной. А главное доказательство в литературе — авторская позиция, выраженная в тексте. Но произведение читалось и до вас. Значит, есть еще одно серьезное доказательство — мнение читателя-профессионала: критика, литературоведа. И если критика — это, как правило, отклик на недавно созданное произведение, то литературоведение — глубокое научное исследование произведения как такового или выявление специфических особенностей ряда произведений, созданных в определенной эпоху.

Поэтому знакомство с художественными произведениями эпохи, столь далеко отстоящей от нас, начнем с рассказа выдающегося литературоведа, специалиста по литературе средних веков и эпохи Возрождения Б. И. Пуришева.

«Немало в средние века нагромождалось тяжелого, темного, бесчеловечного. Но люди всегда оставались людьми. Они не могли, как это требовали от них хмурые благочестивцы, думать только о смерти и загробном царстве. Земля их кормила и поила. С землей прежде всего были связаны их горести, радости, надежды и разочарования. Они любили, трудились, воевали, веселились и оплакивали умерших. Разумеется, они также молились,

но ведь и в молитвах просили они Бога даровать им хлеб насущный и избавить от лукавого в этой земной юдоли.

...Земля оставалась землей. И люди, как и в другие исторические эпохи, тянулись к свету и красоте. При этом им хотелось, чтобы красота обитала не только в тесных храмах, но и на просторах их повседневной жизни. И чтобы выражалась она не только в холодном неподвижном камне, но и в теплом человеческом слове, гибком и музыкальном. Именно в средние века поэзия стала королевой европейской словесности. Время прозы еще не пришло. Даже летописи облекались в стихотворную форму. Священное Писание обретало стихотворные ритмы. Понятно, что при отсутствии книгопечатания стиху суждено было играть особую роль, ведь стихотворные тексты лучше запоминались. Но дело, конечно, не сводилось к удобству запоминания. Звучные стихотворные формы придавали поэтичность даже самому сухому дидактическому тексту, как бы приобщая его к царству красоты. А люди, жившие в суровую и в чем-то даже мрачную эпоху, нуждались в красоте, как нуждались они в солнечном свете.

Поэтическое слово звучало в то время повсюду — и в храме, и в рыцарском замке, и на городском торжище, и в кругу хлебопашцев. Искусные певцы вспоминали о славных богатырях, совершавших удивительные подвиги. Люди разного звания и положения, женщины и мужчины пели о любви, о весне, о веселых и грустных событиях в человеческой жизни... Многочисленные поэты воспевают земную чувственную любовь как великое благо. Поэт не так охотно прислушивается к звону мечей, как к биению пылкого человеческого сердца. Всеми признанной владычицей поэзии становится Любовь, а ее верной спутницей — Прекрасная Дамы.

С культа Прекрасной Дамы, собственно, и началась **куртуазная поэзия**¹. Она возникла в конце XI века в

¹ *Куртуазная поэзия* (от франц. *courtois* — вежливый и *cour* — двор) — придворная, рыцарская поэзия в средневековой Франции, характерными чертами которой были преклонение перед женщиной и воспевание чести и мужества рыцарей.

Провансе, принадлежавшем к числу наиболее развитых стран тогдашней Европы...

И любовь прочно утвердилась в творениях трубадуров¹. Она преобразила суровую средневековую поэзию, заставив поэтов по-новому взглянуть на окружающий мир. Она обостряла чувство прекрасного. Никогда еще средневековые поэты не восторгались столь самозабвенно земной красотой. И пленяла их не только красота молодой куртуазной дамы, но и красота вечно живой природы, в которой они улавливали соответствие своему душевному состоянию. Мир цвел и благоухал в песнях трубадуров».

Прервем ненадолго рассказ ученого и прочитаем одну из таких песен.

Ук де ла Бакалариа

Вместо нежного привета
Ей, царице всех усад,
Чтоб забыться, песнь рассвета
Я сложу на новый лад.
Лунный свет забрезжил где-то,
В птичьих трелях дремлет сад, —
Так мне тяжело бденье это,
Что заре я был бы рад.
О, Боже, как
Наскучил мрак!
Как я жду рассвета!

Хоть Евангелием осмелюсь
Я поклясться: ни Андрей,
Ни Тристан или Амелис
Даме не были верней.
Строки «Pater noster»² пелись
Наново душой моей:
«Господи, qui es in coelus³,
Дай увидеться мне с ней!»

¹ *Трубадуры* — провансальские средневековые поэты, создатели куртуазной лирики.

² «Отче наш» (лат.).

³ живущий на небесах (лат.).

О, Боже, как
Наскучил мрак!
Как я жду рассвета!

Среди гор, в морской стихии
Не умрет любовь моя,
И, наветчики лихие,
Верить вам не буду я!
Провожу уныло дни я,
Без еды и без питья.

К ней от стен Антиохии
В смертный час помчался б я!
О, Боже, как
Наскучил мрак!
Как я жду рассвета!

Брал я с бою замок грозный,
Мне не страшен был медведь,
Леопард неосторожный
Попадал мне часто в сеть, —
Пред любовью же ничтожна
Мощь моя досель и впредь:
Трепет сердца невозможно ни унять,
ни одолеть!

О, Боже, как
Наскучил мрак!
Как я жду рассвета!

Это стихотворение написано в конце XII — начале XIII века. Как вы думаете, в каких строках его заключен главный образ переживания поэта? И еще один вопрос. Устарело ли средневековое творение трубадура?

Б. И. Пуришев продолжает свой рассказ о лирической поэзии средних веков.

«...В этих условиях очень большое значение приобрела поэтическая форма, дававшая поэту возможность проявить свою творческую силу и оригинальность. Трубадуры высоко ценили литературное мастерство. Они соревновались друг с другом в создании новых стихотворных форм. Они хотели быть виртуозами в поэзии. Само слово «трубадур» происходило от провансальского «trobar», что означает «сочинять, находить, изобретать». «Совер-

шенная» любовь требовала совершенной формы, и поэты стремились к филигранной отделке поэтических произведений, они их тщательно шлифовали, заботились об их красоте и мелодичности. Ведь творения трубадуров были предназначены для пения, и автор текста нередко являлся автором мелодии, а также исполнителем песни (впрочем, иногда в роли исполнителя выступал жонглер). Эта забота о звуковом строе поэзии проявлялась отчасти в обращении к рифме. Именно трубадуры ввели ее в широкий литературный обиход. Об этом хорошо сказал А. С. Пушкин: «Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков... Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы...»

...Трубадуры были первыми куртуазными лириками Европы. За ними последовали поэты других европейских стран. Среди них видное место заняли немецкие **миннезингеры** («певцы любви»), выступившие в последней трети XII века. К этому времени в феодальной Германии сложились условия, благоприятствовавшие развитию придворной рыцарской культуры. К началу XIII века немецкая куртуазная поэзия, как лирическая, так и эпическая (рыцарский роман), уже достигла замечательного расцвета».

Рудольф фон Фенис

Должно быть, сам себе я враг исконный.
Любимая пренебрегает мною.
Пусть ко мне другая благосклонна,
Я не прельщусь красавицей другою.
Одна твердит, что я любви не стою,
Я сам суров с другой, в меня влюбленной.
Их две, но нет мне счастья ни с одною.
Когда бы только ведать мне вначале,

Что днесь таких сподоблюсь я наград,
Что мне любовь сулит одни печали,
Вовеки не любить я был бы рад.
Безумец, я блуждаю наугад
И новых бед страшусь в моей опале.
В своих невзгодах сам я виноват.

Как вы думаете, в этом стихотворении поэт убеждает себя и нас в великой силе любви или, наоборот, в ее великой печали? А может быть, и в том и в другом одновременно? Не забудьте, ваши доказательства — в тексте произведения.

Вернемся к рассказу Б. И. Пуришева.

«...Наше представление о лирической поэзии средних веков было бы, конечно, весьма неполным, если бы мы прошли мимо латинской поэзии **вагантов** (*vagantes* — бродячие люди), озорных школяров, неунывающих клириков¹, поклонников Бахуса и Венеры. В средние века латинский язык был не только языком католической церкви, но также языком науки и образованности. В университетах, монастырских и городских школах занятия велись на латинском языке. Это давало возможность школярам, склонным к перемене мест, перебираться из одного университета в другой, из одной страны в другую, повсюду встречая привычную обстановку латинского велеречия...

...Радость и свобода — вот к чему устремлена душа вагантов. Устремлена в то время, когда вся жизнь средневекового человека была всецело подчинена строгой словесной... регламентации. Этому чопорному миру ваганты противопоставляли свое вольное братство, в которое доступ открыт всем добрым и веселым людям, всем, кто готов поделиться последним грошом с нуждающимся, кто лишен высокомерия и ханженства, — без различия пола и возраста, общественного и имущественного положения, национальной принадлежности и вероисповедания». От себя добавим: и тем, кто готов шутить даже над собой.

¹ *Клѣрик* — духовное лицо.

Безымянный поэт

ЛЮБОВЬ К ФИЛОЛОГИИ

О возлюбленной моей
день и ночь мечтаю, —
всем красавицам ее
я предпочитаю.
Лишь о ней одной пишу,
лишь о ней читаю.

Никогда рассудок мой
с ней не расстаётся;
окрыленный ею дух
к небесам взвѣется.
Филологией моя
милая зовется.

Я взираю на нее
восхищенным взором.
Грамматическим мы
с ней
заняты разбором.
И меж нами никогда
места нет раздорам.

Смог я мудрости веков
с нею причаститься.
Дорога мне у нее
каждая вещица:
суффикс, префикс ли, падеж,
флексия, частица.

Молвит юноша:
«Люблю!» —
полон умиленья.
А для нас «любить» — глагол
первого спряженья.
Ну, а эти «я» и «ты» —
два местоименья.

Можно песни сочинять
о Прекрасной Даме,
можно прозой говорить
или же стихами,
но при этом надо быть
в дружбе с падежами!

Как бы вы определили в этом стихотворении образ, вызывающий переживания лирического героя? Советуем тем, кто испытывает подобные чувства к филологии, выучить это стихотворение наизусть.

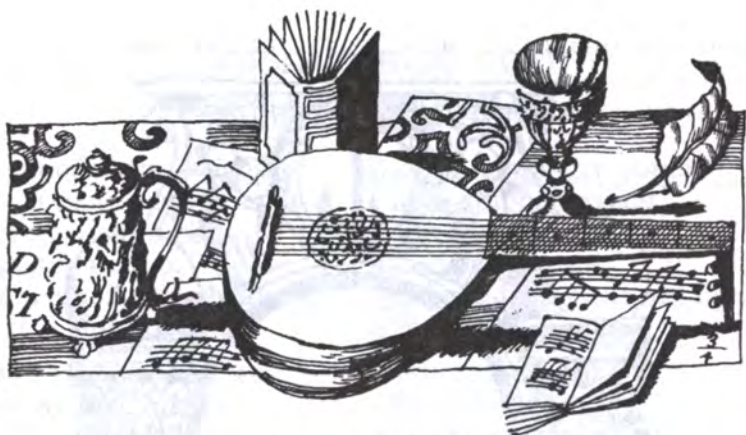


Советы библиотеки

Конечно, литература средневековой Европы не ограничивается лирической поэзией трубадуров, миннезингеров и вагантов. Именно в поэзии ярко выразилось то главное, что волновало людей в эту эпоху.

Чтобы ваши представления были полнее, чтобы вы получили настоящее удовольствие от чтения и еще раз убедились в том, что в культуре часть и целое находятся в особых отношениях, прочитайте «Роман о Тристане и Изольде» Ж. Бедье. Затем попытайтесь ответить на вопрос: в мировой культуре средние века — эпоха рыцарей или поэтов?





ВОЗРОЖДЕНИЕ

Деление литературы, да и всей художественной культуры на эпохи достаточно условно. Не потому, что этих эпох не было. Они, конечно, были и очень многое дали человечеству. А потому, что провести строгие временные границы между ними практически невозможно. В самом деле, никто не возьмется сказать, что в таком-то году закончилась эпоха средневековья и началась эпоха Возрождения. Ведь эпохи в культуре переплетены живыми нитями традиций. И только спустя годы люди начинают ясно сознавать: наступило новое время. Но оно не приходит само по себе. В жизни людей появляются новые реалии, осознаются новые проблемы, обостряются противоречия с прошлым, а вместе с этим возникает потребность помочь себе и снять неосознанные волнения и переживания. Итальянский литературовед Антонио Приетт говорил, что именно художественное произведение — это самый быстрый ответ на социальный или психологический вопрос, когда без помощи документов и фактов, а только художественным словом можно ответить на волнующие людей проблемы. Добавим: не только людей, но и самого автора.

Уже в средние века в литературе стала зарождаться тенденция проникновения во внутренний мир человека. Думается, вы смогли в этом убедиться, прочитав лирические произведения трубадуров, миннезингеров и вагантов.

Вообще говоря, именно лирика раньше всего начинает реагировать на возникающие изменения в жизни, потому что они отражаются в сознании людей, начинают их волновать, беспокоить. И люди ждут ответа. А для лирики, как вы помните, важнее эмоциональное состояние человека, а не условия его жизни. Может быть, поэтому именно лирические произведения, даже созданные в давние времена, кажутся более понятными и доступными читателям последующих эпох. А в эпических и драматических произведениях современному читателю не всегда удастся снять покров реалий времени и дойти до самой сути. А суть в литературе, как вам известно, одна — человек, его душевные состояния, грехи и пороки, добродетели и радости, сомнения, смятения и надежды. И эта суть — главный, вневременной стержень литературы.

Но вернемся к эпохе Возрождения (XIV—XVII века). Эту эпоху современники называли по-разному: французы — Ренессансом, европейцы-протестанты — Реформацией, а потомки дали ей более точное название — Возрождение.

Это было время, когда дворянство лишилось своей былой мощи, а церковь вынужденно ослабила свой духовный гнет. Это было время, когда бурно расцветала торговля и промышленность и совершались великие географические открытия. Возрождением эта эпоха была названа потому, что сопровождалась расцветом духовной жизни, открытием, «возрождением» античной культуры. Ведь античный мир представлялся царством прекрасных, гармоничных людей, достойных детей великой матери-природы, свободных от сословных пут, наделенных даром высокой человечности.

Таким образом, это было время, когда создавалась новая культура, провозгласившая главной ценностью мира человека. Новая, гуманистическая (от латинского *humanus* — человек) идеология, самую суть которой составляло отстаивание духовной свободы, утверждала новый взгляд на человека, который основывался на вере в его силу и способности, в его деятельную творческую энергию. По мнению гуманистов, человек должен быть

честным, добрым, духовно и физически развитым, а самое главное — свободным. Именно в это время внимание к внутреннему миру человека становится доминирующим. Литература стремится показать сложные душевные состояния и движения человека. Причем писателей прежде всего интересуют возвышенные и искренние порывы чувств. Это, конечно, не значит, что в произведениях этого времени нет отрицательных, в нашем понимании, героев. Но художники слова глубоко исследуют светлое и красивое начало в человеке.

Обратитесь к произведениям живописи эпохи Возрождения. В самых выдающихся полотнах поражает теплота человеческих лиц и божественных ликов. Кстати, именно в этот период термин «личность» начинает приобретать современный нам смысл. Поэтому можно сказать, что свобода личности от социальных и психологических пут, свобода выбора, свобода воли — тот лейтмотив, которым эпоха Возрождения вошла в историю мировой культуры. А стремление к этой свободе создало таких титанов культуры, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, А. Дюрер, Ф. Рабле, М. де Сервантес, Лопе де Вега и, конечно, Шекспир.

Уильям Шекспир

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

С великими именами связаны великие тайны. Автор «Слова о полку Игореве» неизвестен. Споры о том, кем он мог быть, идут до сих пор. Но разве от этого произведение становится менее привлекательным? Разве его великий призыв к единению или плач Ярославны менее трогают наши души? Конечно, нет.

Вокруг имени и творчества великого английского писателя У. Шекспира споры также не утихают и сегодня. В нашем учебнике мы не будем их касаться. Потому что для нас важна не столько биография писателя, жившего в определенное время, сколько биография автора-творца, его взгляды, представления о человеке, жизни. А эта «биография» находится в его произведениях, ей мы и бу-

дем уделять самое пристальное внимание. Но надо знать и факты жизни великих творцов. Поэтому в конце учебника мы даем «Краткий биобиблиографический словарь писателей», чьи произведения помещены в нашей книге.

Итак, первая трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта». Время ее создания 1595 или 1596 год. Эта трагедия настолько знаменита, что даже те люди, которые ее не читали и не видели на сцене или на экране, знают — в центре трагедии изображение величайшего человеческого чувства, чувства любви. Уверены, что перипетии сюжета, страсти, которые бушуют в пьесе, вас вряд ли оставят равнодушными.



Вопросы и задания

По нашей традиции, чтобы ваша интерпретация авторского замысла была глубже, при чтении и размышлении о прочитанном обратите, пожалуйста, внимание на наши вопросы.

Кроме изображения страстной и возвышенной любви Ромео и Джульетты, автор показывает три различных проявления этого чувства у других героев пьесы. **О чем идет речь? Кто эти действующие лица? Зачем они появляются в трагедии?**

Обратите внимание на то, как по ходу развития действия способы сценического изображения любви Ромео и Джульетты становятся все более выразительными. Не случайно Генрих Гейне, великий немецкий писатель, сказал о Джульетте: «Она — нераспустившаяся роза, на наших глазах расцветающая под поцелуями Ромео во всем великолепии юности». **Какие способы художественной выразительности использует автор?**

Некоторые исследователи отрицают высокую миссию изображенной в трагедии любви. Г. Бертон утверждает, что «в какой-то мере печальная смерть молодых влюбленных вызвана их характерами и темпераментом; они молоды и горячи, нетерпеливы и полны страсти». Другой литературовед, Уайтекер, пишет более категорично: «В пьесе есть еще один аспект, который очевиден уже при первом чтении и важность которого возрастает для

тех, кто изучает пьесу более пристально. Это попытка показать, что Ромео и Джульетта — особенно Ромео — по целому ряду причин заслуживают морального порицания и частично ответственны за свою собственную трагедию». Мы хотим, чтобы после прочтения пьесы вы смогли либо подтвердить, либо опровергнуть подобную интерпретацию.

В жанре трагедии конфликт неразрешим по своей сути, иначе говоря, безысходен в своей трагичности. Можно ли это сказать о трагедии «Ромео и Джульетта»? Каков, на ваш взгляд, пафос финала: трагически безысходный или оптимистически светлый? А может быть, вы найдете более точное определение?

И последний вопрос: зачем, по-вашему мнению, написана пьеса?



ТЕМА — МОТИВ — СЮЖЕТ — ЖАНР

Зачем писатель пишет книги, композитор музыку, художник картины? Вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос? Если честно, то мы думаем, что вряд ли. За исключением, конечно, тех случаев, когда книгу читать не хотелось и в голове крутилось одно: ну зачем же он (писатель) так много написал. Это, конечно, шутка. Ну а если говорить серьезно, то настоящий автор-творец не писать не может. И дело здесь в том, что психология мастера такова, что ему жизненно важно самовыражение. Но самовыражение отдельного человека только тогда будет интересно людям, когда направлено на то, что их действительно интересует, волнует, помогает понять самих себя. И чем точнее автору это удастся почувствовать, тем больше шансов у его произведения стать не только актуальным для своего времени, но и для будущих поколений читателей. Говоря иначе, стать гениальным произведением искусства и войти в сокровищницу мировой культуры. Объяснить, почему одному это удастся, а дру-

гому нет, не сможет, вероятно, никто. Но проследить в творчестве гениев литературы появление того нового, что делает их таковыми, литературоведы пытаются, и часто весьма успешно.

Мы в учебнике постараемся показать вам направление этих поисков.

Художник ставит перед собой конкретную цель, понимает, что он хочет изобразить, о чем написать, то есть определяет тему своего произведения. Но направление его поисков связано с объективными условиями его жизни, с состоянием искусства его времени, со всем тем, что в не зависящих от творца условиях жизни и существующей культуры направляет его поиски.

Одним из важнейших моментов, направляющих поиски, является **мотив**. Вспомните, в фольклоре мы встречались с «бродячими сюжетами» в сказках разных народов. Так вот, мотив — это своего рода устоявшийся в литературе, может быть, даже со времен мифов микросюжет. Иначе говоря, своего рода строительный материал произведения. Если сравнивать со зданием, это может быть или кирпич, или деревянный брус, а может, и бетонная плита. Это, конечно, очень вольное сравнение. Но, будем надеяться, понятное и показательное. Таких мотивов в литературе множество. В зависимости от эпохи некоторые из них становятся наиболее востребованными. И писатель, размышляя над темой своего произведения, не может не использовать наиболее близкие ему мотивы.

Набор таких мотивов реализуется в **сюжете**. Но набор этот собирает и выстраивает автор. При этом укрепляет свое создание изобразительно-выразительными средствами, присущими его авторской манере, этапу развития искусства и жанру.

Проследите сами эту цепочку на примере трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта».

Знаменитый античный поэт Овидий в четвертой книге своей поэмы «Метаморфозы», беря за основу миф о Пираме и Фисбе, рассказывает такую историю (мы ее цитируем по книге И. А. Аксенова «Шекспир»).

«В Вавилоне жили две знатных семьи и связаны были дружбой. Отцы решили закрепить дружбу браком своих детей. В одной семье был мальчик Пирам, в другой имелась девочка Фисба. Предназначенных друг другу детей воспитывали вместе, и они полюбили друг друга. По мере роста их чувство усиливалось и, выросши достаточно, они стали с нетерпением ждать часа своего брака. На их беду между отцами их возникли разногласия, перешедшие в ссору. Дружба двух домов сменилась ненавистью, о старой приязни стремились истребить самое воспоминание, общий обоим домам сад был разгорожен высокой стеной, но нерасторжимой оказалась влюбленность молодых людей. Переглядываясь и перешептываясь сквозь трещины непреодолимой каменной преграды, они успели назначить друг другу свидание в пустыне, под гранатовым деревом в близости гробницы. Несколько ранее назначенного времени прибыл к месту пылкий Пирам. На его беду блуждавшая по пустыне лвица вышла ему навстречу. Юноша было обнажил меч, но вскоре оценил негодность его для обороны от страшного зверя, бросил в лвицу и меч и плащ, сам же скрылся бегством. Лвица обнюхала брошенные вещи, перепачкала их кровью, покрывавшей ее морду, и, разочарованная в своих надеждах, удалилась в бесконечные пески окружающей пустыни. Когда Фисба пришла к месту свидания, она нашла только окровавленный плащ своего милого и лвиные следы, говорившие достаточно ясно о гибели счастья. Девушка подняла меч и кончила свою жизнь под тем гранатовым деревом, где было ей назначено свидание. К этому же дереву пришел и спасшийся от лвицы Пирам. Найдя под ним только труп своей милой, он кончил свою жизнь тем же мечом, который послужил орудием смерти Фисбы».

Эту тему много перелагали и в песни, и в прозаические рассказы. Имена менялись, бытовая обстановка тоже. Мазуччо сделал из нее новеллу. Пайнтер пересказал ее по-английски, включив в сборник «Чертог наслаждений», а поэт Брук сделал из нее поэму о «Ромеусе и Джульетте».

Но имена и произведения этих писателей стали уделом лишь истории литературы. А вот трагедия «Ромео

и Джульетта» Шекспира стала не только фактом истории, но продолжает жить и волновать сегодняшних читателей. Почему? Думаем, ответ на этот вопрос даст ваша дискуссия.



Творческий практикум

Пьеса прочитана, некоторые направления для ваших размышлений о ней мы дали в вопросах. Очень советуем вам провести их обсуждение в классе. Только помните: автор, его позиция, художественно выраженная в произведении, — ключевое доказательство. Чем глубже вы проникнете в авторский замысел, в его творческую лабораторию, тем интереснее будет ваша интерпретация. Надеемся, что при подготовке к публичной классной дискуссии вам поможет и наша статья.

Творческое задание не для всех

Попробуйте найти в произведениях А. С. Пушкина мотивы, сходные тем, которые есть в «Ромео и Джульетте». В качестве первой подсказки назовем три произведения: «Барышня-крестьянка», «Дубровский», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

— Мигель де Сервантес Сааведра —

На заре XVII века в испанской литературе появились две довольно странные фигуры: нескладный рыцарь на тощем коне и толстенький оруженосец на упитанном ослике. Они вошли в жизнь людей, чтобы надолго стать олицетворением человечности, благородства, честности, отзывчивости и доверчивости. Это Дон Кихот и Санчо Панса. Вот так рядом и идут они через века, вызывая порой насмешки, порой восхищение, а порой и просто недоумение, а за ними всегда следует писатель, придумавший их, — Мигель де Сервантес Сааведра. Так и идут они вместе в веках, автор и его герои.

«Свобода... есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей: с нею не могут сравниться никакие сокровища» — эти слова принадлежат главному герою романа Сервантеса «Хитроумный идаль-

го Дон Кихот Ламанчский». Ведь не случайно, определив себя в странствующие рыцари, Дон Кихот так формулирует свою цель: защищать тех, «кого Господь и природа создали свободными». Так звучит в романе ключевое для Возрождения понятие свободы. Это тем более показательно, если учесть, что Сервантес начал создавать свое творение в 1602 году, находясь в... тюремной камере.

В 1605 году первая часть романа вышла в свет и имела огромный успех. С тех пор это произведение настолько прочно вошло в сокровищницу мировой культуры, что даже трудно представить себе человека, который был бы с ним не знаком. Интересно отметить и то влияние, которое оно оказало на русских писателей. О «Дон Кихоте» Пушкин писал Гоголю и советовал, когда создавались «Мертвые души», брать пример с Сервантеса. Белинский восторгался величием художественных открытий этого романа.

А. И. Герцен однажды точно заметил: «Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда». Вот так и «Дон Кихот», вернее, его истинный смысл сначала ускользал от современников.

Испанцы встретили его с улыбкой, они были убеждены, что Сервантес написал «Дон Кихота» главным образом для того, чтобы вместе высмеять **рыцарские романы** и навсегда отбить у своих соотечественников охоту их читать. Действительно, Испания конца XVI века зачитывалась рыцарскими романами. Это была настоящая эпидемия, сравнимая, пожалуй, только с повальным увлечением наших современников детективами.

Что же это такое «рыцарский роман»? Как правило, в нем доблестный рыцарь совершает неслыханные подвиги во славу Прекрасной Дамы, сражается с опасными чудовищами, разрушает козни злых волшебников, приходит на помощь обиженным. Таким образом, рыцарские романы развлекают и вызывают к добрым чувствам. Они написаны доступным языком, динамичны и основаны на принципе узнавания, притягивают извечно волнующими темами — смертельной опасности и любви. Рыцарские романы удовлетворяли потребность людей в невероятном, интригующем, таинственном и идеальном,

они проникнуты благородным, всем понятным пафосом сказочной борьбы добра со злом. В этом смысле авторы не обманывали ожидания людей: поначалу поволновав читателей, приводят все к вполне благополучной развязке.

«Что же в этом плохого и почему их необходимо было пародировать?» — спросите вы. А потому, что главные, животрепещущие, по мнению автора, темы в этих произведениях не поднимались, потому, что, погружаясь в мир рыцарского романа, читателю не нужно было много думать.

Но вернемся к произведению Сервантеса. Сначала оно воспринималось как забавное, необычное чтение, но со временем сюжет уступает место образу. Становится понятно, что главное в романе — вовсе не сами по себе события и их последовательность, а образ совершенно необычного человека. Образ настолько глубокий и вечный, что имя героя стало не просто символом, а мировым литературным мотивом. Очень точно об этом сказал И. С. Тургенев: «...когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать».

Когда будете читать роман, обращайтесь, пожалуйста, самое пристальное внимание на то, как к своему герою относится автор.

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

В сокращении

Часть первая

Глава I,

*повествующая о нраве и образе жизни
славного идальго Дон Кихота Ламанчского*

В некоем селе ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго¹, чье имущество заключается в фа-

¹ *Идальго* — мелкопоместный рыцарь, дворянин в средневековой Испании.

мильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья¹ чаще с говядиной, нежели с бараниной, ви-негрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь, в виде добавочного блюда, по воскресеньям, — все это поглощало три четверти его доходов. Остальное тратилось на тонкого сукна полукафтанье, бархатные штаны и такие же туфли, что составляло праздничный его наряд, а в будни он щеголял в камзоле из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключница, коей перевалило за сорок, племянница, коей не исполнилось и двадцати, и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и лошадь седлать и с садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего идальго приближался к пятидесяти годам; он был крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные — Кесада. В сем случае авторы, писавшие о нем, расходятся; однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет существенного значения; важно, чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины.

Надобно знать, что вышеупомянутый идальго в часы досуга, — а досуг длился у него чуть ли не весь год, — отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство; и так далеко зашли его любознательность и его помешательство на этих книгах, что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему удалось достать; больше же всего любил он сочинения знаменитого Фелисьяно де Сильва, ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно было прочесть: «Благоразумие вашего неблагоприятия по отношению к моим разумным доводам до того помра-

¹ Олья — испанское национальное блюдо.

чает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Или, например, такое: «...всемогущие небеса, при помощи звезд божественно возвышающие вашу божественность, соделывают вас достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше величие».

Над подобными оборотами речи бедный кавальеро¹ ломал себе голову и не спал ночей, силясь понять их и добраться до их смысла, хотя сам Аристотель, если б он нарочно для этого воскрес, не распутал бы их и не понял. Не лучше обстояло дело и с теми ударами, которые наносил и получал дон Бельянис, ибо ему казалось, что, какое бы великое искусство ни выказали пользовавшие рыцаря врачи, лицо его и все тело должны были быть в рубцах и отметилах. Все же он одобрял автора за то, что тот закончил свою книгу обещанием продолжить длиннейшую эту историю, и у него самого не раз являлось желание взяться за перо и дописать за автора конец; и так бы он, вне всякого сомнения, и поступил и отлично справился бы с этим, когда бы его не отвлекали иные, более важные и всечасные помыслы. Не раз приходилось ему спорить с местным священником, — человеком образованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе, — о том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский или же Амадис Галльский. Однако маэсе² Николас, цирюльник из того же села, утверждал, что им обоим далеко до Рыцаря Феба и что если кто и может с ним сравниться, так это дон Галаор, брат Амадиса Галльского, ибо он всем взял; он не ломака и не такой плакса, как его брат, в молодечестве же нисколько ему не уступит.

Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот оттого, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: чародейством, распрями,

¹ *Кавальéro* — общее название лиц дворянского происхождения.

² *Маэсé* — мастер.

битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, любовными похождениями, сердечными муками и разной невероятной чепухой; и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц — истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного. Он говорил, что Сид Руи Диас очень хороший рыцарь, но что он ни в какое сравнение не идет с Рыцарем Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам двух свирепых и чудовищных великанов. Он отдавал предпочтение Бернардо дель Карпыо оттого, что тот, прибегнув к хитрости Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли — Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда. С большой похвалой отзывался он о Морганте, который хотя и происходил из надменного и дерзкого рода великанов, однако ж, единственный из всех, отличался любезностью и отменной учтивостью. Но никем он так не восхищался, как Ринальдом Монтальванским, особенно когда тот, выехав из замка, грабил всех, кто только попадался ему на пути, или, очутившись за морем, похищал истукан¹ Магомета — весь как есть золотой, по уверению автора. А за то, чтобы отколотить изменника Ганелона, наш идальго отдал бы свою ключницу, да еще и племянницу в придачу.

И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже необходимым как для собственной славы, так и для пользы отечества сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня и, с оружием в руках отправившись на поиски приключений, начать заниматься тем же, чем, как это ему было известно из книг, все странствующие рыцари, скитаясь по свету, обыкновенно занимались, то есть искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет. Бедняга уже представлял себя увенчанным за свои подвиги,

¹ *Истукан* — статуя.

по малой мере, короной Трапезундского царства; и, весь отдавшись во власть столь отрадных мечтаний, доставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспешил он достигнуть цели своих стремлений. Первым делом принялся он за чистку принадлежавших его предкам доспехов, некогда сваленных как попало в угол и покрывшихся ржавчиной и плесенью. Когда же он с крайним тщанием вычистил их и привел в исправность, то заметил, что недостает одной весьма важной вещи, а именно: вместо шлема с забралом он обнаружил обыкновенный шишак¹; но тут ему пришла на выручку его изобретательность: смастерив из картона полушлем, он прикрепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не скроем, однако ж, что когда он, намереваясь испытать его прочность и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то первым же ударом в одно мгновение уничтожил труд целой недели; легкость же, с какою забрало разлетелось на куски, особого удовольствия ему не доставила, и, чтобы предотвратить подобную опасность, он сделал его заново, подложив внутрь железные пластинки, так что в конце концов остался доволен его прочностью и, найдя дальнейшие испытания излишними, признал его вполне годным к употреблению и решил, что это настоящий шлем с забралом удивительно тонкой работы.

Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хромала на все четыре ноги и недостатков у нее было больше, чем у лошади Гонеллы, которая *tantum pellis et ossa fuit*², нашел, что ни Буцефал Александра Македонского, ни Бабьека Сиды не могли бы с нею тягаться. Несколько дней раздумывал он, как ее назвать, ибо, говорил он себе, коню столь доблестного рыцаря, да еще такому доброму коню, нельзя не дать какого-нибудь достойного имени. Наш идалго твердо держался того мнения, что если произошла перемена в положении хозяина, то и конь

¹ *Шишак* — металлический шлем с острием, заканчивающимся шишкой.

² «Была только кожа да кости» — слова из комедии Плавта «Горшок», акт III, сцена VI (лат.).

должен переменить имя и получить новое, славное и громкое, соответствующее новому сану и новому поприщу хозяина; вот он и старался найти такое, которое само показывало бы, что представлял собой этот конь до того, как стал конем странствующего рыцаря, и что он собой представляет теперь; итак, он долго придумывал разные имена, роясь в памяти и напрягая воображение, — отвергал, отметал, переделывал, пускал насмарку, сызнова принимался составлять, — и в конце концов остановился на *Росинанте*¹, имени, по его мнению, благородном и звучном, поясняющем, что прежде конь этот был обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал первой клячей в мире.

Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это еще неделю, назвался, наконец, *Дон Кихотом*², — отсюда, повторяем, и сделали вывод авторы правдивой истории, что настоящая его фамилия вне всякого сомнения была Кихада, а вовсе не Кесада, как уверяли иные. Вспомнив, однако ж, что доблестный Амадис не пожелал именоваться просто Амадисом, но присовокупил к этому имени название своего королевства и отчества, дабы тем прославить его, и назвался Амадисом Галльским, решил он, что и ему, как истинному рыцарю, надлежит присовокупить к своему имени название своей родины и стать *Дон Кихотом Ламанчским*, чем, по его мнению, он сразу даст понять, из какого он рода и из какого края, и при этом окажет честь своей отчизне.

Вычистив же доспехи, сделав из шишака настоящий шлем, выбрав имя для своей лошаденки и окрестив самого себя, он пришел к заключению, что ему остается лишь найти даму, в которую он мог бы влюбиться, ибо странствующий рыцарь без любви — это все равно, что дерево без плодов и листьев или же тело без души.

¹ *Росинант* — от слов: *росин* — кляча, *анте* — прежде и впереди, т. е. то, что было клячей когда-то, а также — кляча, идущая впереди всех остальных.

² *Кихоте* — набедренник, часть рыцарского вооружения.

— Если в наказание за мои грехи или даже на мое счастье, — говорил он себе, — встретится мне где-нибудь один из тех великанов, с которыми странствующие рыцари встречаются нередко, и я сокрошу его при первой же стычке, или разрублю пополам, или, наконец, одолев, заставлю просить пощады, то разве плохо иметь на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар, с тем чтобы он, войдя, пал пред моею кроткою госпожою на колени и покорно и смиренно молвил: «Сеньора! Я — великан Каракульямбр, правитель острова Малиндрании, побежденный на поединке неоцененным рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, который и велел мне явиться к вашей милости, дабы ваше величие располагало мной по своему благоусмотрению»?

О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти слова, особливо же когда он нашел, кого назвать своею дамой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селении жила весьма миловидная деревенская девушка, в которую он одно время был влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною титула владычицы его помыслов; и, выбирая для нее имя, которое не слишком резко отличалось бы от ее собственного и в то же время напоминало и приближалось бы к имени какой-нибудь принцессы или знатной сеньоры, положил он назвать ее *Дульсинеей Тобосскою*¹, ибо родом она была из Тобосо, — именем, по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все ранее придуманные им имена.

Глава II,

*повествующая о первом выезде
хитроумного Дон Кихота из его владений*

Покончив со всеми этими приготовлениями, наш идальго решил тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны

¹ *Дульсинэя* — от слова dulce — сладкая, нежная (лат.).

может пагубно отозваться на человеческом роде: сколько беззаконий предстоит ему устранить, сколько кривды выпрямить, несправедливостей загладить, злоупотреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетворить! И вот, чуть свет, в один из июльских дней, обещавший быть весьма жарким, никому ни слова не сказав о своем намерении и оставшись незамеченным, облачился он во все свои доспехи, сел на Росинанта, кое-как приладил нескладный свой шлем, взял щит, прихватил копье и, безмерно счастливый и довольный тем, что никто не помешал ему приступить к исполнению благих его желаний, через ворота скотного двора выехал в поле. Но как скоро он очутился за воротами, в голову ему пришла страшная мысль, до того страшная, что он уже готов был отказаться от задуманного предприятия, и вот почему: он вспомнил, что еще не посвящен в рыцари и что, следственно, по законам рыцарства, ему нельзя и не должно вступать в бой ни с одним рыцарем; а если б даже и был посвящен, то ему как новичку подобает носить белые доспехи, без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит его своею храбростью. Эти размышления поколебали его решимость; однако ж безумие взяло верх над всеми доводами, и по примеру многих рыцарей, о которых он читал в тех самых романах, что довели его до такого состояния, вознамерился он обратиться с просьбой о посвящении к первому встречному. Что же касается белых доспехов, то он дал себе слово на досуге так начистить свои латы, чтобы они казались белее горноста, и, порешив на том, продолжал свой путь, — вернее, путь, который избрал его конь, ибо Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать приключений.

Ехал путем-дорогой наш новоявленный рыцарь и сам с собой рассуждал:

— Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о моих славных деяниях, и тот ученый муж, который станет их описывать, дойдя до первого моего и столь раннего выезда, вне всякого сомнения начнет свой рассказ так: «Златокудрый Феб только еще распускал по лицу широ-

кой и просторной земли светлые нити своих роскошных волос, а пестрые птички нежной и сладкой гармонией арфоподобных своих голосов только еще встречали румяную Аврору, покинувшую мягкое ложе ревнивого супруга, распахнувшую врата и окна ламанчского горизонта и обратившую взор на смертных, когда славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по древней и знаменитой Монтельской равнине».

В самом деле, именно по этой равнине он и ехал.

— Блаженны времена и блажен тот век, — продолжал он, — когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть вычеканенными на меди, высеченными на мраморе и изображенными на полотне в назидание потомкам! Кто б ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем необычайных моих приключений, молю: не позабудь доброго Росинанта, вечного моего спутника, странствующего вместе со мною по всем дорогам.

Потом он заговорил так, как если бы точно был влюблен:

— О принцесса Дульсинея, владычица моего сердца, покоренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, осыпав упреками, изгнали меня и в порыве гнева велели не показываться на глаза красоте вашей! Заклинаю вас, сеньора: сжальтесь над преданным вам сердцем, которое, любя вас, тягчайше терпит муки!

На эти нелепости он нагромождал другие, точь-в-точь как в его любимых романах, стараясь при этом по мере возможности подражать их слогу, и оттого ехал так медленно, солнце же стояло теперь так высоко и столь нещадно палило, что если б в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо.

В сущности, за весь этот день с ним не произошло ничего, о чем следовало бы рассказать, и он уже приходил в отчаяние, ибо ему хотелось как можно скорее встретиться с кем-нибудь таким, на ком он мог бы проявить свою мощь. Одни авторы первым его приключением счи-

тают случай, происшедший в Ущелье Лаписе, другие — случай с ветряными мельницами, — то же, что удалось установить мне и чему я нашел подтверждение в летописях Ламанчи, сводится к следующему. Весь этот день Дон Кихот провел в пути, а к вечеру он и его кляча устали и сильно проголодались; тогда, оглядевшись по сторонам в надежде обнаружить какой-нибудь замок, то есть шалаш пастуха, где бы можно было подкрепиться и расправить усталые члены, заметил он неподалеку от дороги постоялый двор, и этот постоялый двор показался ему звездой, которая должна привести его не к преддверию храма спасения, а прямо в самый храм. Он тронул поводья и подъехал к постоялому двору, как раз когда стало смеркаться.

Случайно за ворота постоялого двора вышли две незамужние женщины из числа тех, что, как говорится, ходят по рукам; вместе с погонщиками мулов они держали путь в Севилью, но те порешили здесь заночевать; а как нашему искателю приключений казалось, будто все, о чем он думал, все, что он видел или рисовал себе, создано и совершается по образу и подобию вычитанного им в книгах, то, увидев постоялый двор, он тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпилями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом, — словом, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. В нескольких шагах от постоялого двора, или мнимого замка, он натянул поводья и остановился в ожидании, что вот сейчас между зубцов покажется карлик и, возвещая о прибытии рыцаря, затрубит в трубу. Но карлик медлил, Росинанту же не терпелось пробраться в стойло; тогда Дон Кихот подъехал ближе и, увидев двух гулящих бабенок, решил, что подле замка резвятся не то прекрасные девы, не то прелестные дамы. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время какой-то свинопас, сгоняя со жнивья стадо свиней, — прошу меня извинить, но другого названия у этих животных нет, — затрубил в рожок, по каковому знаку те имеют обыкновение сбегаться, и тут Дон Кихот, вообра-

жив, что чаемое им свершилось, — а именно что карлик возвестил о его прибытии, — не помня себя от радости направился к дамам, но дамы, к ужасу своему заметив, что к ним приближается всадник, облаченный в столь диковинные доспехи, со щитом и копьем, бросились наутек; тогда Дон Кихот, догадавшись, что это он испугал их, поднял картонное забрало, скрывавшее худое и запыленное его лицо, и с самым приветливым видом спокойно проговорил:

— Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь ничего, ибо рыцарям того ордена, к которому я принадлежу, не пристало и не подобает чинить обиды кому бы то ни было, а тем паче столь знатным, судя по вашему виду, девицам.

Бабенки воззрились на незнакомца, пытаюсь разглядеть его лицо, на которое опять сползло дрянное забрало, но, услышав, что он величает их девицами, каковое наименование отнюдь не соответствовало их роду занятий, принялись хохотать, да так, что Дон Кихот почувствовал себя неловко.

— Красоте приличествует степенность, — сказал он, — беспричинный же смех есть признак весьма недалекого ума. Впрочем, все это я говорю не для того, чтобы оскорбить вас или же привести в дурное расположение духа, ибо я со своей стороны расположен лишь к тому, чтобы служить вам.

Свойственная нашему рыцарю манера выражаться, не привычная для слуха обеих дам, и неказистая его наружность все больше и больше смешили их. Дон Кихот же все пуще гневался, и неизвестно, чем бы это кончилось, если б в это самое время не подоспел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный и оттого весьма добродушный, но даже и он, увидев перед собой нелепую фигуру и все эти разнородные предметы, как-то: тяжеловесное копье и легкий кожаный щит, столь же легкий кожаный панцирь и тяжелую сбрую, чуть было не присоединился к развеселившимся девицам. Однако ж, устранный этою грудой доспехов, рассудил за благо быть

с незнакомцем полюбезнее и обратился к нему с такими словами:

— Коли ваша милость, сеньор кавальеро, ищет ночлега, то вы не найдете здесь только кровати, — кровати, правда, у меня нет ни одной, — зато все остальное имеется в изобилии.

Почтительный тон коменданта, — надобно заметить, что хозяина наш рыцарь принял за коменданта, а постоянный двор за крепость, — умиротворил Дон Кихота.

— Я всем буду доволен, сеньор кастелян¹, — сказал он, — *ибо мой наряд — мои доспехи, в лютой битве мой покой* и так далее.

Хозяин подумал, что тот принял его за честного кастильца и потому назвал кастеляном, на самом же деле он был андалусец, да еще из Сан Лукара, и в жульничестве не уступал самому Каку, а в плутовстве — школярам и слугам.

— Стало быть, — подхватил он, — *ложе вашей милости — твердый камень, бденье до зари — ваш сон*. А коли так, то вы смело можете здесь остановиться: уверяю вас, что в этой лачуге вы найдете сколько угодно поводов не то что одну ночь — весь год не смыкать глаз.

С этими словами хозяин ухватился за стремя, и Дон Кихот спешил, хотя это стоило ему немалых трудов и усилий, оттого что он целый день постился.

Затем он попросил хозяина не оставить своими заботами и попечениями его коня, ибо, по его словам, то было лучшее из травоядных. Хозяин, взглянув на Росинанта, не обнаружил и половины тех достоинств, какие видел в нем Дон Кихот, однако ж отвел коня в стойло и тотчас вернулся узнать, не нужно ли чего-нибудь гостю; с гостя же успевшие с ним помириться девы снимали доспехи, причем снять нагрудник и наплечье им удалось, а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, к коему были пришиты зеленые ленты, они так и не сумели; по-настоящему следовало разрезать ленты,

¹ *Кастелян* — комендант крепости, замка.

ибо развязать узлы девицам оказалось не под силу, но Дон Кихот ни за что на это не согласился и так потом до самого утра и проходил в шлеме, являя собою нечто в высшей степени странное и забавное; и пока девки снимали с него доспехи, он, думая, что это знатные сеньоры, обитательницы замка, с великою приятностью читал им стихи:

— Никогда так нежно дамы
Не пеклись о паладине,
Как пеклись о Дон Кихоте,
Из своих земель прибывшем:
Служат фрейлины ему,
Скакуну его — графини, —

то есть Росинанту, ибо так зовут моего коня, сеньоры, меня же зовут Дон Кихот Ламанчский, и хотя я должен был бы поведать вам свое имя не прежде, чем его поведают подвиги, которые я намерен совершить, дабы послужить вам и быть вам полезным, однако ж соблазн применить старинный романс о Ланцелоте к нынешним обстоятельствам вынудил меня поведать вам, кто я таков, раньше времени. Впрочем, настанет пора, когда ваши светлости будут мною повелевать, я же буду вам повиноваться, и доблестная моя длань поведает о моей готовности служить вам.

Девицы, не привыкшие к столь пышной риторике, хранили молчание; они лишь осведомились, не желает ли он покушать.

— Вкусить чего-либо я не прочь, — отвечал Дон Кихот, — и сдается мне, это было бы весьма кстати.

Дело как нарочно происходило в пятницу, и на всем постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшого запаса трески, которую в Кастилии называют абадехо, в Андалусии — бакалья, в иных местах — курадилльо, в иных — форелькой. Дон Кихота спросили, не угодно ли его милости, за неимением другой рыбы, отведать *форелек*.

— Побольше бы этих самых *форелек*, тогда они заменят одну форель, — рассудил Дон Кихот, — ибо не все ли

равно, дадут мне восемь реалов¹ мелочью или же одну монету в восемь реалов? Притом очень может быть, что *форелька* настолько же нежнее форели, насколько телятина нежнее говядины, а молодой козленок нежнее козла. Как бы то ни было, несите их скорей: ведь если не удовлетворить настойчивой потребности желудка, то и бремену трудов, а равно и тяжелых доспехов на себе не потащишь.

Стол поставили у ворот, прямо на свежем воздухе, а затем хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вымоченной и еще хуже приготовленной трески и кусок хлеба, не менее черного и не менее заплесневелого, чем его доспехи. И как же тут было не рассмеяться, глядя на Дон Кихота, который, наотрез отказавшись снять шлем с поднятым забралом, не мог из-за этого поднести ко рту ни одного куска! Надлежало кому-нибудь другому ухаживать за ним и класть ему пищу в рот, и эту обязанность приняла на себя одна из дам. А уж напоить его не было никакой возможности, и так бы он и не напился, если б хозяин не провертел в тростинке дырочку и не вставил один конец ему в рот, а в другой не принялся лить вино; рыцарь же, чтобы не резать лент, покорно терпел все эти неудобства. В это время на постоянный двор случилось зайти коновалу, собиравшемуся холостить поросят, и, войдя, он несколько раз дунул в свою свистульку, после чего Дон Кихот совершенно уверился, что находится в некоем славном замке, что на пиру в его честь играет музыка, что треска — форель, что хлеб — из белоснежной муки, что непотребные девки — дамы, что хозяин постоянного двора — владелец замка, и первый его выезд, равно как и самая мысль пуститься в странствия, показались ему на редкость удачными. Одно лишь смущало его — то, что он еще не посвящен в рыцари, а кто не принадлежал к какому-нибудь рыцарскому ордену, тот, по его мнению, не имел права искать приключений.

¹ *Реал* — старинная испанская серебряная или медная монета, один серебряный реал равнялся двум медным.

Глава III,

*в коей рассказывается о том,
каким забавным способом Дон Кихот был посвящен
в рыцари*

Преследуемый этою мыслью, Дон Кихот, быстро покончив со своим скудным трактирным ужином, подозвал хозяина, удалился с ним в конюшню, пал на колени и сказал:

— Доблестный рыцарь! Я не двинусь с места до тех пор, пока ваша любезность не соизволит исполнить мою просьбу, — исполнение же того, о чем я прошу, покроет вас неувядаемою славой, а также послужит на пользу всему человеческому роду.

Увидев, что гость опустил перед ним на колени, и услышав такие речи, хозяин оторопел: он не знал, что делать и что говорить, а затем стал убеждать его подняться с колен, но тот поднялся лишь после того, как хозяин дал слово исполнить его просьбу.

— Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вашего несказанного великодушия, — заметил Дон Кихот. — Итак, да будет вам известно, что просьба, с которой я к вам обратился и которую ваше человеколюбие обещало исполнить, состоит в том, чтобы завтра утром вы посвятили меня в рыцари; ночь я проведу в часовне вашего замка, в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбудется то, чего я так жажду, и я обрету законное право объезжать все четыре страны света, искать приключений и защищать обиженных, тем самым исполняя долг всего рыцарства, а также долг рыцаря странствующего, каковым я являюсь и каковой обязан стремиться к совершению указанных мною подвигов.

Хозяин, будучи, как мы уже говорили, изрядною шельмой, отчасти догадывался, что гость не в своем уме, — при этих же словах он совершенно в том уверился и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело провести ночь, сказал Дон Кихоту следующее: намерение-де его и просьба более чем разумны, и вполне естественно и законно, что у такого знатного, сколько можно судить по его наружности и горделивой осанке, рыцаря явилось

подобное желание; да и он, хозяин, в молодости сам предавался этому почтенному занятию: бродил по разным странам и в поисках приключений неукоснительно заглядывал в Перчелес под Малагой, на Риаранские острова, в севильский Компас, сеговийский Асогехо, валенсийскую Оливеру, гранадскую Рондилью, на набережную в Сан Лукаре, в кордовский Потро, толедские игорные притоны и еще кое-куда, развивал проворство ног и ловкость рук, проявлял необычайную шкодливость, не давал проходу вдовушкам, соблазнял девиц, совращал малолетних, так что слава его гремела по всем испанским судам и судилищам; под конец же удалился на покой в этот свой замок, где и живет на свой и на чужой счет, принимая у себя всех странствующих рыцарей, независимо от их звания и состояния, исключительно из особой любви к ним и с условием, чтобы в благодарность за его гостеприимство они делились с ним своим достоянием. К этому хозяин прибавил, что у него в замке нет часовни, где бы можно было бодрствовать над оружием, ибо старую он снес, дабы на ее месте выстроить новую, но что, сколько ему известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием дозволяется где угодно, так что Дон Кихот может провести эту ночь на дворе, а завтра, Бог даст, все приличествующие случаю церемонии будут совершены и он станет настоящим рыцарем, да еще таким, какого свет не производил.

Затем он осведомился, есть ли у Дон Кихота деньги; тот ответил, что у него нет ни гроша, ибо ни в одном рыцарском романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей имел при себе деньги. На это хозяин сказал, что он ошибается; что хотя в романах о том и не пишется, ибо авторы не почитают за нужное упоминать о таких простых и необходимых вещах, как, например, деньги или чистые сорочки, однако ж из этого вовсе не следует, что у рыцарей ни того, ни другого не было; напротив, ему доподлинно и точно известно, что у всех этих странствующих рыцарей, о которых насочиняли столько романов, кошельки на всякий случай были туго набиты; брали они с собой и чистые сорочки, а также баночки с мазью, коей врачевали

ли они свои раны: ведь не всегда же в полях и в пустынях, где они сражались и где им наносили раны, был у них под рукой лекарь, разве уж кто-нибудь из них водил дружбу с мудрым волшебником, который немедленно сажал на облако и направлял к нему по воздуху какую-нибудь девицу или же карлика с пузырьком воды столь целебного свойства, что стоило рыцарю выпить несколько капель — и всех его язв и ран как не бывало; при отсутствии же такого рода помощи прежние рыцари полагали благоразумным позаботиться о том, чтобы их оруженосцы были наделены деньгами и прочими необходимыми вещами, как то: корпией¹ и лечебными мазями; а у кого из рыцарей почему-либо оруженосца не было, — случай редкий, можно сказать исключительный, — те сами возили все это в крошечных сумочках, которые они привязывали к лошадиному крупу и, словно некую драгоценность, старались как можно лучше спрятать; впрочем, обычай возить с собою сумочки не принадлежал к числу наиболее распространенных среди странствующих рыцарей. В заключение хозяин посоветовал Дон Кихоту, — хотя, в сущности, он имел право приказывать ему, ибо тот в ближайшем будущем должен был стать его крестником, — впредь без денег и упомянутых снадобий в путь не пускаться: он сам, дескать, увидит, что в один прекрасный день они ему пригодятся.

Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием; он собрал свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и вперед; и только он начал прогуливаться, как наступила ночь.

Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и о предстоящей возне с посвящением его в рыцари. Присутствовавшие подивились такому странному виду умственного расстройства и пошли посмотреть на

¹ *Кóрпия* — перевязочный материал.

Дон Кихота издали, а Дон Кихот между тем то чинно прохаживался, то, опершись на копьё, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их. Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял дневное светило, коему он обязан своим сиянием, так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям. В это время одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта доспехи нашего рыцаря; и, едва увидев погонщика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом:

— Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливающийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом! Помысли о том, что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью заплатишься ты за свою дерзость!

Погонщик и в ус себе не дул, — а между тем лучше было бы, если бы он дул: по крайности его самого тогда бы не вздули, — он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-видимому обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсине, сказал:

— Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впервые нанесенное моему сердцу — вашему верноподданному. Ныне предстоит мне первое испытание — не лишайте же меня защиты своей и покрова.

Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копьё и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал запертво, так что если бы за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и, как ни в чем не бывало, снова стал прогуливаться. Малое время спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь постигла первого, — ибо тот все еще лежал без чувств, — вздумал напоить мулов, но как скоро приблизился он к водопойной колоде и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря

и на сей раз ни у кого не испросив помощи, снова отложил в сторону щит, снова поднял копьё и так хватил второго погонщика, что не копьё разлетелось на куски, но череп погонщика раскололся даже не на три, а на четыре части. На шум сбежались обитатели постоянного двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, одною рукой схватив щит, а другою придерживая меч, воскликнул:

— О царица красоты, сила и крепость изнемогшего моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная надвигается опасность!

Тут он ощутил в себе такую решимость, что если б сюда со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать Дон Кихота градом камней, — тот по мере возможности закрывался щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уговаривал их не трогать рыцаря: ведь он же, дескать, предупреждал их, что это сумасшедший, а с сумасшедшего, хоть бы он тут всех переколотил, взятки гладки. Но Дон Кихот кричал еще громче: погонщиков он обозвал изменниками и предателями, а владельца замка — за то, что тот допускает, чтобы со странствующими рыцарями так поступали, — малодушным и неучтивым кавальеро, да еще прибавил, что если б он, Дон Кихот, был посвящен в рыцари, то владелец замка ответил бы ему за свое вероломство.

— А эту пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте со мной все, что хотите, — сейчас вы поплатитесь за свое безрассудство и наглость.

В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его недругов напал необоримый страх; и, отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно и невозмутимо принял охранять доспехи.

Хозяину надоели выходки гостя, и, чтобы положить им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, совершить над ним этот треклятый обряд посвящения. Подойдя к нему, он принес извинения в том, что этот подлый народ без его ведома так дерзко с ним обошелся, и обещал строго наказать наглецов. Затем еще раз повторил, что часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала: сколько ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состоит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине, вот, мол, и вся хитрость, а это и среди поля с успехом можно проделать; что касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полагается всего только два часа, а Дон Кихот бодрствует уже более четырех. Дон Кихот всему этому поверил; он объявил, что готов повиноваться, только предлагает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, он никого здесь не оставит в живых, — впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит.

Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас сбегал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи, и двумя помянутыми девицами подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колена, сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут же изо всех сил треснул его по затылку, а затем, все еще бормоча себе под нос что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. После этого он велел одной из шлюх препоясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом чрезвычайную ловкость и деликатность: в самом деле, немалое искусство требовалось для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха; впрочем, при одном воспоминании о недавних подвигах новонареченного рыцаря смех невольно замирал на устах у присутствовавших.

— Да поможет Бог вашей милости стать удачливейшим из рыцарей и да ниспошлет он вам удачу во всех сражениях! — препоясывая его мечом, молвила почтенная сеньора.

Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеется заслужить доблестною своею дланью¹. Она же весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толедо, ныне проживающего в торговых рядах Санчо Бьенайи, и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот попросил ее об одном одолжении, а именно: из любви к нему прибавить к своей фамилии *донья*² и впредь именоваться *доньей* Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него шпоры, и с нею он повел почти такую же речь, как и с той, что препоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут, она же ответила, что ее зовут Ветрогона и что она дочь почтенного антекерского мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покровительство, попросил и ее присовокупить к своей фамилии *донья* и впредь именоваться *доньей* Ветрогоною.

Дон Кихот не чаял, как дожидаться минуты, когда можно будет снова сесть на коня и отправиться на поиски приключений, и после того как были закончены все эти доселе невиданные церемонии, совершенные с такою быстротою и поспешностью, он тот же час оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв хозяина, в столь мудреных выражениях изъявил ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что передать их нам было бы не под силу. В ответ хозяин на радостях, что отделался от него, произнес не менее высокопарную, хотя и не столь странную речь и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.

¹ Длань — рука, ладонь.

² Дóнья, дон — звание лиц дворянского сословия.

Глава IV,

*о том, что случилось с рыцарем нашим,
когда он выехал с постоялого двора*

Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости подскакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли ему на память наставления хозяина, положил он возвратиться домой, чтобы запастись всем необходимым, главное — деньгами и сорочками; в оруженосцы же себе прочил он одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако ж для таковых обязанностей как нельзя более подходившего. С этой целью он поворотил Росинанта в сторону своего села, и Росинант, словно почуяв родное стойло, обнаружил такую резвость, что казалось, будто копыта его не касаются земли.

Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа, из чащи леса, до него донеслись тихие жалобы, точно кто-то стонал, и, едва заслышав их, он тотчас воскликнул:

— Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, — за то, что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний! Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающиеся в помощи моей и защите.

С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда долетали стоны. Проехав же несколько шагов по лесу, увидел он кобылу, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, привязан был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати, и вот этот-то мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар попреками и нравоучениями.

— Смотри в оба, а язык держи за зубами, — приговаривал он.

А мальчуган причитал:

— Больше не буду, хозяин, Христом Богом клянусь, не буду, обещаю вам глаз не спускать со стада!

Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул:

— Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить! Садитесь на коня, возьмите копьё, — надобно заметить, что у сельчанина тоже было копьё: он прислонил его к тому дубу, к коему была привязана кобыла, — и я вам докажу всю низость вашего поступка.

Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспехами фигуру, перед самым его носом размахивавшую копьём, подумал, что пришла его смерть.

— Сеньор кавальеро! — вкрадчивым голосом заговорил он. — Я наказываю мальчишку, моего слугу, который пасет здесь отару моих овец; из-за этого ротозея я каждый день недосчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее за плутовство, а он говорит, что я из скупости возвожу на него напраслину, — чтобы не платить ему жалованья, но я клянусь Богом и спасением души, что он врет.

— Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем присутствии, что он врет? — воскликнул рыцарь. — Клянусь солнцем, всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым копьём проткну вас насквозь. Без всяких разговоров уплатите ему, не то, да будет мне свидетелем Всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на месте. Ну, отвязывайте его, живо!

Сельчанин, понутив голову, молча отвязал своего слугу; тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин. Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи реалов за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет шестьдесят три реала, и сказал сельчанину, чтоб он немедленно раскошеливался, если только ему дорога жизнь. На это испуганный сельчанин ответил так: он, дескать, уже клялся, — хотя до сих пор об этом не было и речи, — и теперь говорит, как на духу, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех пар обуви, которые износил пастух, да еще один реал за два

кровопускания, которые были ему сделаны, когда он за-
немог.

— Это все так, — возразил Дон Кихот, — однако вы ни за что ни про что отхлестали его ремнем, — пусть же это пойдет в уплату за обувь и кровопускания: ведь если он порвал кожу на башмаках, которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, порвали ему собственную его кожу. И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете.

— Беда в том, сеньор кавалеро, что я не взял с собой денег, — придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему все до последнего реала.

— Чтобы я с ним пошел? — воскликнул мальчуган. — Час от часу не легче! Нет, сеньор, ни за что на свете. Если я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу, вроде как со святого Варфоломея или с кого-то там еще.

— Он этого не сделает, — возразил Дон Кихот, — я ему прикажу, и он не посмеет меня послушаться. Пусть только он поклянется тем рыцарским орденом, к которому он принадлежит, и я отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что он тебе заплатит.

— Помилуйте, сеньор, что вы говорите! — воскликнул мальчуган. — Мой хозяин — вовсе не рыцарь, и ни к какому рыцарскому ордену он не принадлежит, — это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кинтана-
нар.

— Это ничего не значит, — возразил Дон Кихот, — и Альдудо могут быть рыцарями. Тем более, что каждого человека должно судить по его делам.

— Это верно, — согласился Андрес, — но в таком случае как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалованье, которое я заработал в поте лица?

— Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? — снова заговорил сельчанин. — Сделай милость, пойдем со мной, — клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько

их ни развелось на свете, что уплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с радостью уплачу.

— Можно и без радости, — сказал Дон Кихот, — уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали: это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь тою же самою клятвою, я разыщу вас и накажу: будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем ревностнее приняться за его исполнение, то знайте, что я — доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных, засим оставайтесь с Богом и под страхом грозящей вам страшной кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою.

С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал:

— Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг.

— Я в этом нимало не сомневаюсь, ваша милость, — заметил Андрес. — В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря, дай Бог ему прожить тысячу лет; он такой храбрый и такой справедливый, что если вы мне не уплатите, клянусь святым Роке, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение.

— Я тоже в этом не сомневаюсь, — сказал сельчанин, — но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить.

Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу, высыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив.

— Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес, посмотрим, как он за вас заступится, — сказал сельчанин. — Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел, — у меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались.

Однако ж в конце концов он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего судьи, дабы тот претворил в жизнь вынесенное им решение. Пастушонок с кислою миною удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ламанчского и во всех подробностях рассказать ему о том, что произошло, дабы он принудил хозяина заплатить сторицей. Как бы то ни было, Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое показалось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и вполголоса говорил:

— По праву можешь ты именоваться счастливейшею из всех женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц красавица Дульсинея Тобосская! Судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ламанчский; всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестокостью творила неправда, — ныне он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем не повинного слабого отрока.

Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и воображению его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутии и размышлять о том, по какой дороге ехать; и в подражание им он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта, Росинант же не изменил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо к его конюшне. Дон Кихот проехал уже около двух миль, когда глазам его открылось великое скопление народа: как выяснилось впоследствии, то были толедские купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в сопровождении семи слуг, из коих четверо сидели верха-

ми, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое приключение; между тем он задался целью по возможности действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того ради он вытянулся на стременах, сжал в руке копьё, заградился щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал толедских купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге; когда же те подъехали к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос:

— Все, сколько вас ни есть, — ни с места до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинея Тобосская!

При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности купцы остановились; и хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако ж им захотелось выведать у него исподволь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался, и тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил:

— Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину.

— Если я вам ее покажу, — возразил Дон Кихот, — то что вам будет стоять засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту, а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд. Выходите по одному, как того требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людшек, верные дурной своей привычке, нападайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор.

— Сеньор кавальеро! — снова заговорил купец. — От имени всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покорной просьбой: чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слыхали, и вдобавок не унижить подобным свидетельством императриц и королев алькаррийских и эстремадурских, будьте так любезны, ваша милость, покажите нам какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пшеничное зерно: ведь по щетинке узнается свинка, тогда мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удовлетворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и ублагодотворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею, и если б даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочится киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие угодно достоинства.

— Ничего такого у нее не сочится, подлая тварь! — пылая гневом, вскричал Дон Кихот. — Ничего такого у нее не сочится, говорю я, — это небесное создание источает лишь амбру и мускус. И вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадаррамы. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы.

С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы, на счастье дерзкого купца, Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону; хотел встать — и не мог: копье, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал:

— Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня.

Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший круше-

ние продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копьё, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева унимали погонщика и уговаривали оставить кавальера в покое, но погонщик, войдя в азарт, решился до тех пор не прекращать игры, пока не истощится весь его гнев; он хватал один кусок копьё за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле, — рыцарь же, между тем как на него все еще сыпался град палочных ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов.

Наконец погонщик устал, и купцы, на все время путешествия запасшись пищею для разговоров, каковою должен был им служить бедный избитый рыцарь, поехали дальше. А рыцарь, оставшись один, снова попробовал встать; но если уж он не мог подняться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что он счастлив, — он полагал, что это обычное злоключение странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был его конь. Вот только он никакими силами не мог встать, — уж очень болели у него все кости.



Вопросы и задания

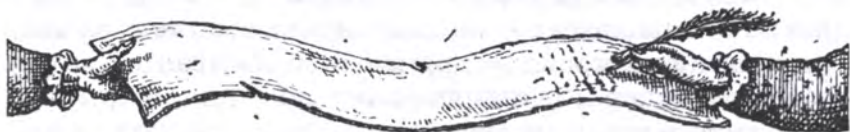
Вы прочитали только четыре главы романа. Наши вопросы к этим главам, надеемся, помогут вам глубже погрузиться в это уникальное произведение. Похож ли главный герой на рыцаря? Как автор относится к своему герою? Как вы думаете, исчерпывается ли цель автора созданием пародии на рыцарский роман и его героев?

Каким предстает Дон Кихот в сцене посвящения в рыцари, в разговоре с пастухом и его хозяином? Почему герой не смог защитить пастуха?

Подвиги героя приносят пользу и добро?

Что вы можете сказать об отношении других героев к Дон Кихоту? Чтобы ответ на этот вопрос был более полным, прочитайте главы V и VI.

Чем руководствуется в своих поступках рыцарь?



ЧУДАК?.. БЕЗУМЕЦ?.. ГЕРОЙ?..

Один из исследователей романа однажды заметил: «Дон Кихот первых шести глав прежде всего безумен, затем он станет, как это точно подметит Санчо, не столько безумен, сколько дерзновенен». Действительно, если поначалу роман почти не выходит за рамки литературной пародии, то по мере развития событий герой перестает быть только комической фигурой. Он обнаруживает такие свойства, которые позволяют увидеть его совсем в ином свете. Его безумие все чаще оборачивается мудростью, а его речи и поступки кажутся странными только обывателям. А у читателя невольно закрадывается сомнение: так ли уж безумен человек, верящий в добро и справедливость, в правду и человечность, в честь и благородство и стремящийся защищать слабых и притесненных, мечтающих искоренить всякого рода неправду?

Внимательно перечитайте те главы романа, где рассказывается о беседе Дон Кихота с духовником герцога и о тех советах, которые дает рыцарь своему оруженосцу, перед тем как тот вступит на губернаторский пост. Об уме или безумии героя говорят его слова и поступки?

Автор по-разному называет своего героя: Дон Кихот Ламанчский, Рыцарь Львов, Рыцарь Печального Образа, Алонсо Кихано Добрый. Вспомните, когда в романе по-

является каждое из имен героя, и ответьте на вопрос: какое из них с наибольшей полнотой раскрывает суть его характера?

Однако, наделяя Дон Кихота очень привлекательными человеческими чертами, изображая его подвижником, ратоборцем справедливости, автор ставит своего героя в нелепые и смешные положения. И это объяснимо не только пародийной тенденцией, просто Дон Кихот бессилён изменить что-либо в мире, где царят эгоизм и стяжательство. Поэтому иллюзии, во власти которых он все время находится, с одной стороны, умножают его силы, а с другой — делают его усилия бесплодными. Нередко его великодушные порывы приводили к результатам прямо противоположным, поэтому трудно, наверное, ответить на вопрос: кто такой Дон Кихот — чудака, безумец, герой? В нём скрыто своеобразное противоречие между внешними признаками рыцаря и внутренним содержанием: герой никак не подходит под описание рыцарей, но его душа горит желанием защищать слабых, помогать обиженным, спасти нуждающихся. Внешне он комичен, порою смешон, но внутренне он самый настоящий рыцарь. Он — активная натура и не может мириться со злом. Но трагедия его в том, что он одинок в своем стремлении (лишь Санчо Панса понимает его), а в одиночку исправить мир зла, лжи и лицемерия нельзя. Но он все же пытается, — это делает его смешным в глазах окружающих, они считают его безумным. А ведь это подвиг: зная о своем одиночестве, сражаться за идею добра. Поэтому Дон Кихот и безумец, и чудака, и герой, и трагическая личность.

Роман, пройдя через сознания миллионов, оказал огромное влияние на культуру, на жизнь людей, одних увлекая благородством героя, других остерегая от карикатурных его подвигов. С течением времени стало ясно, что Сервантес усмотрел особое, никем до него не подмеченное явление, имеющее вневременное, присущее всем векам и народам значение. Открытое Сервантесом и обличенное в художественный образ явление потомки на-

звали донкихотством. Дон Кихот стал вечным образом, донкихотство — литературным мотивом.

Донкихотство — понятие «многозначное, его толкуют по-разному. Эти толкования иногда даже противоположны друг другу. Многие называют донкихотством отсутствие чувства реальности и называют донкихотом человека, лезущего на рожон, лишённого ощущения действительности, а потому несуразного, нелепого, жалкого и смешного.

Но под донкихотством понимают и другое — нежелание приспособляться к прозе жизни, стремление преобразить и преобразовать жизнь, упорное и даже героическое следование мечте, верность возвышенной цели, сколько бы цель ни противоречила грубой логике реальных и косных фактов. Донкихотство в таком понимании тоже может иметь оттенок смешного, но более глубокая реакция, которую оно в нас вызывает, — сочувствие, сострадание, восхищение». Так объясняет донкихотство современный исследователь.

Иные времена обнаружили в романе иное содержание, то «нечто высшее, из чего вытекают все верования, убеждения и начала», и не только обнаружили, но и попытались объяснить.

В. Г. Белинский утверждал, что Дон Кихот — благородный и умный человек, который весь, со всем жаром энергической души, предался любимой идее. Комическая же сторона в характере Дон Кихота состоит в противоположности его любимой идеи с требованием времени, с тем, что не может быть осуществлена в действии, приложена к делу... Каждый человек есть немножко Дон Кихот, писал критик, но более всего бывают донкихотами люди с пламенным воображением, любящие душою, благородным сердцем, даже сильною волею и с умом, но без рассудка и такта действительности... Если б эта храбрость, это великодушие, эта преданность, если б все эти прекрасные, высокие и благородные качества были употреблены на дело, вовремя и кстати, — Дон Кихот был бы истинно великим человеком.

И. С. Тургенев заметил, что Дон Кихот выражает собой «веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое... в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала к водворению истины, справедливости на земле... Жить для себя, заботиться о себе — Дон Кихот почел бы постыдным. Он весь живет (если можно так выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам — волшебникам, великанам — то есть притеснителям... Смиранный сердцем, он духом велик и смел... крепость его нравственного состава (заметьте, что этот сумасшедший, странствующий рыцарь — самое нравственное существо в мире) придает особенную силу и величавость всем его суждениям и речам, всей его фигуре, несмотря на комические и унижительные положения, в которые он беспрестанно впадает... Дон Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сияньем...».

А. И. Герцен сказал: «Дон Кихот — один из трагических типов людей, переживающих свой идеал».

Прокомментируйте приведенные высказывания. Подумайте, сходны или различны их авторы в своей оценке образа.

Какая из оценок вам кажется наиболее интересной? Почему?



Творческий практикум

Составьте галерею образов эпохи Возрождения, которая является основой мировой духовной культуры. Если у вас получится выполнить эту работу в жанре эссе, то обратите особое внимание на то, насколько актуальны эти образы сейчас, причем как в литературе, так и в жизни.



Советы библиотеки

Любимый нами Козьма Прутков говорил, что никто не может объять необъятное. Поэтому весь роман Сервантеса, конечно, не мог быть включен в учебную хрестоматию. Надеемся, что вы возьмете его в библиотеке и прочитаете полностью.

У. Шекспир написал столько удивительной красоты сонетов, что не прочитать хотя бы десять из них было бы преступлением против культуры. Если вы считаете себя уже достаточно взрослым человеком, то доказательством вашего реального взросления будет то, что вы обязательно прочитаете трагедию Шекспира «Гамлет».

Сколько же необыкновенных историй происходит с влюбленными! Убедитесь в этом еще раз, прочитав пьесу Лопе де Вега «Собака на сене».





ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ЭПОХА

Удивительный по силе и блеску расцвет искусства эпохи Возрождения конечно же очень сильно повлиял на дальнейшее развитие всей художественной культуры Европы. Но в то же время новая эпоха принесла с собой новые проблемы, новые взгляды, новые социальные условия. Ускоряется процесс формирования национальных культур, мир искусства становится еще многообразнее. Строго говоря, именно в эту эпоху искусство становится обособленной, самостоятельной сферой человеческой деятельности, т. е. само понятие «искусство» приобретает то значение, которым мы пользуемся и сейчас. Выделение искусства из ремесла приводит к тому, что увеличивается значение индивидуальности мастера.

Видите, сколько изменений принесла с собой новая эпоха. Именно в это время в литературе начинают формироваться различные направления.

Что же такое литературное направление, или художественный (творческий) метод? Это круг взаимосвязанных между собой особенностей литературного творчества. Но такое определение будет неполным. Давайте вместе поразмышляем и дополним его.

Во-первых, влияет ли эпоха на этот целостный круг? Вспомните восьмой класс, когда мы говорили о традиции и новаторстве, добавьте новые знания, которые вы получили уже в девятом классе. Ну, как вы думаете? Конечно, влияет. Более того, в момент зарождения направления даже во многом определяет. А что определяет и на что влияет? На автора и на выбор им тем и мотивов. Но направление только тогда становится таковым, когда выбор целого ряда писателей в главном совпадает. По нашей традиции, чтобы легче было это понятие уяснить, найдем образ из окружающей нас жизни. Представьте себе группу рыбаков, похоже одетых (сапоги, плащи и т. п.), соответствующим образом экипированных (например, спиннингами, а не удочками), долго искавших и нашедших безлюдную заводь, в которой они хотят ловить не пескарей, а щук или судаков. Каждый из них, конечно, поймает разную по размерам рыбу. Но идут они вместе. Вот эта общность и есть направление. Таким образом, **литературным направлением принято считать устойчивый и повторяющийся в определенную историческую эпоху взаимосвязанный круг основных особенностей литературного творчества, выражающийся в характере отбора тем, мотивов, а также отвечающих им средств художественного изображения у определенного ряда писателей.**

Запоминать это определение вовсе не обязательно, но понять его суть необходимо. Ведь вольно или невольно господствующее направление определяет характер творческих поисков художника, даже если писатель стремится выйти за рамки этого круга. И еще для того, чтобы знать, как развивалась литература, какие этапы уже пройдены, какие цели достигнуты, и увидеть то новое, конечно, если оно действительно есть, что несет в себе произведение в мировоззренческом, философском плане.

Но вернемся к эпохе Просвещения. В это время получили одновременное развитие **три направления: классицизм, барокко и просветительский реализм.**

На наш взгляд, не случайно именно эти три направления доминируют в эту эпоху становления нового искус-

ства, новой морали, нового уклада жизни. Человек пытается осознать иные реалии, найти себя в условиях бытия, ответить на вечные вопросы: кто я? зачем я живу? как мне жить? Посмотрим, как отвечают на эти вопросы зародившиеся литературные направления. Классицизм утверждает: долг — вот главный регулятор жизни и поведения человека. Барокко обращается к чувствам, вере. Просветительский реализм опирается на свободный человеческий разум, абсолютизируя его. Видите, поиски ведутся с разных сторон, но в основе их все равно человек. А создание направлений, новые опыты, споры вокруг них связаны с тем, как глубже, точнее и лучше понять человеку человека, воспитать человеческое в человеке. Эти опыты питают литературу, развивают ее. Они меняют нормы, проблематику, стиль писателей, художественные средства, почти все... кроме мотивов. Потому что именно мотивы делают литературу литературой, а не сборником трудов о том, что такое человек!

Мольер

Реальная Франция XVII века, конечно, отличалась от Франции, созданной воображением А. Дюма в своих романах. Но Людовик XIV был, Ришелье — тоже. И власть их была абсолютной. А еще в это время жил выдающийся драматург Жан Батист Поклен (Мольер). И в силу того поприща — театра, которое выбрал себе сын владельца обойной мастерской, пути верховной власти и творца неминусом должны были пересечься. И они пересеклись.

После первого же представления комедия «Тартюф» была запрещена на пять лет. Именно столько времени понадобилось драматургу, чтобы, несмотря на близкое знакомство с королем, вернуть ее на сцену. Почему это произошло и что в «Тартюфе» так возмутило влиятельнейшее окружение короля, мы сейчас узнаем. Нам повезло, что история сохранила обращения Мольера к Людовику XIV.

Прочитайте их и задумайтесь о том, каким нелегким бывает путь произведения от его создателя к читателю, и о том, как сам драматург объясняет такую нелегкую судьбу своего творения. Читайте внимательно: перед вами документ эпохи, который поможет понять выбор темы произведения, места действия и, конечно, героев.

ПЕРВОЕ ПРОШЕНИЕ КОРОЛЮ

по поводу комедии «Тартюф»

Ваше величество!

Поскольку назначение комедии состоит в том, чтобы развлекать людей, исправляя их, я рассудил, что по роду своих занятий я не могу делать ничего более достойного, чем бичевать пороки моего века, выставляя их в смешном виде. А так как лицемерие есть, несомненно, один из самых распространенных, невыносимых и опасных пороков, то я, Ваше величество, решил, что окажу немалую услугу всем честным людям в Вашем королевстве, если сочиню комедию, обличающую лицемеров и выставляющую, как и подобает, напоказ все заученные ужимки этих сверхправедников, все тайные козни этих фальшивомонетчиков благочестия, которые пытаются одурачить людей поддельной ревностью о вере и притворной любовью к ближнему.

Я сочинил такую комедию. Ваше величество, сочинил, как я полагаю, со всем рвением, со всей осмотрительностью, коих требовала щекотливость предмета. А дабы ничем не поколебать почет и уважение, коими окружены истинно праведные люди, я подчеркнул, как мог, различие между ними и изображенным мною характером. Я не оставил места для двусмысленных толкований, я устранил всякую возможность спутать добро и зло, я рисовал свою картину с помощью ярких красок и отчетливых линий, которые позволяют сразу распознать несомненного и отъявленного лицемера.

И тем не менее все мои предосторожности были напрасны. Кое-кто злоупотребил тем, как близко к сердцу принимает Ваше величество все, что касается благочестия, и применил единственный способ к Вам подольститься: воспользовался Вашим преклонением перед святыней. Тартюфы сумели исподтишка втереться в милость к Вашему величеству, и вот оригиналы добились запрещения копии, невзирая на то, что она благонамеренна и, как говорят, верна.

Запрет, наложенный на это сочинение, явился для меня ударом чувствительным, и все же горе мое было смягчено тем, как Ваше величество соизволили истолковать мне случившееся. Я полагал, что мне не на что жаловаться, поскольку Вы, Ваше величество, милостиво объявили, что не порицаете комедию, хотя и воспрещаете показывать ее на сцене.

И, однако, вопреки этим примечательным словам величайшего и просвещеннейшего монарха, вопреки одобрению монсеньера легата¹ и большей части наших прелатов², которые, когда я читал им свое сочинение в частной обстановке, единодушно разделили мнение Вашего величества, вопреки всему этому появляется книжка, написанная неким кюре³, и в ней открыто опровергаются упомянутые суждения высоких особ. Как бы ни высказывалось Ваше величество, какого бы мнения ни придерживались монсеньер легат и прелаты, он полагает, что моя комедия (которой он, кстати сказать, не видел) — сатанинская и образ мыслей у меня сатанинский, а я сам — нечистый дух во плоти и в человеческом обличье, нечестивец, безбожник, заслуживающий примерно наказания. По моим грехам мне мало, чтоб меня при всем народе сожгли на костре, — а так я дешево отделаюсь. Человеколюбивый пыл этого истинного ревнителя благочестия идет дальше: он возражает против того, чтобы меня коснулось Божье милосердие, он требует во что

¹ *Легат* — уполномоченный папы римского.

² *Прелат* — высшее духовное лицо.

³ *Кюре* — католический приходский священник.

бы то ни стало, чтобы я был навеки проклят, и не сомневается, что так оно и будет.

Эта книжка была преподнесена Вашему величеству, и теперь Вы сами, государь, можете судить, сколь тягостно для меня подвергаться постоянным оскорблениям этих господ, какой урон нанесут мне во мнении общества подобные наговоры, если я буду вынужден их сносить, и сколь важно для меня отвести наконец от себя напраслину и доказать публике, что моя комедия менее всего похожа на то, за что ее выдают. Я не стану говорить Вашему величеству, что именно было бы мне желательно для обеления моей репутации и публичного удостоверения благонамеренности моей пьесы. Столь просвещенным монархам, как Вы, государь, не подсказывают, чего от них ждут: они, подобно Богу, сами видят наши нужды и знают лучше нас, какие милости нам оказать. С меня довольно, что я вверяю себя Вашему величеству, и я почти-тельнейше приму все, что Вы соизволите по сему поводу повелеть.

ВТОРОЕ ПРОШЕНИЕ,

*поданное королю в лагере
перед городом Лиллем во Фландрии*

Ваше величество!

Я решаюсь на большую дерзость, докучая великому монарху во время его победоносного похода, но в положении, в каком я очутился, где могу я, государь, найти покровительство, как не там, куда я обращаюсь? И у кого искать мне защиты от притесняющих меня власти и могущества, как не у источника могущества и власти, как не у справедливого и непререкаемого законодателя, не у верховного судии и властелина?

Моей комедии, государь, было не суждено снискать благоволение Вашего величества. Ей не помогло то, что я поставил ее под заглавием «Обманщик» и нарядил ее героя в светское платье. Нужды нет, что он у меня носит длинные волосы, маленькую шляпу, широкий воротник, шпагу и камзол, обшитый кружевами, что я смягчил

в комедии некоторые места и старательно вымарал все, что, как мне казалось, могло бы дать достославным оригиналам рисуемого мною портрета малейший повод для придирок. Предосторожности не послужили ни к чему. Вся эта братия переполошилась — им было довольно простых догадок. Они нашли средства повлиять на умы тех, кто в любом случае не преминул бы громогласно заявить, что не поддается никакому влиянию. Как только моя комедия появилась на сцене, на нее обрушила громовой удар власть, к которой нельзя не питать уважение. При таких обстоятельствах, дабы самому спастись от грозы, мне не оставалось ничего иного, как сослаться на то, что Вашему величеству угодно было позволить представление моей комедии и что я не считал нужным испрашивать дозволение у кого-либо другого, поскольку и запрет исходил только от Вашего величества.

Я не сомневаюсь, государь, что люди, изображенные в моей комедии, сумеют нажать изрядное количество пружин вокруг Вашего величества и, как им это уже не раз удавалось, привлекут на свою сторону истинно праведных людей, которых тем легче обмануть, что они судят о других по себе. А ведь те наострились в искусстве приукрашать подлинные свои намерения. Как бы ловко они ни притворялись, ими руководит отнюдь не ревность о Божьей славе: это они доказали, глядя сквозь пальцы на иные комедии и допуская без малейших возражений их многократные публичные представления. Ведь там подвергались нападкам вера и благочестие, а это их мало трогает; моя комедия задевает и осмеивает их самих, и вот этого они снести не могут. Они никогда не простят мне, что я хочу выставить их лицемерие на всеобщее обозрение. Без сомнения, Вашему величеству будет доложено, что все возмущены моей комедией. Истина же, государь, заключается в том, что весь Париж был возмущен наложенным на нее запретом, что лица самых строгих взглядов нашли ее полезной и что все удивляются, как это особы, известные своей порядочностью, выказали такую снисходительность к людям, которые должны бы всюду вызывать отвращение и которые ничего общего

не имеют с подлинным благочестием, о коем столько распространяются.

Я почтительно ожидаю решения, которое Ваше величество соблаговолит вынести по этому делу. Но не подлежит сомнению, государь, что если тартюфы восторжествуют, то мне нечего и думать сочинять комедии впредь — это даст им основание усилить травлю, они станут придирааться к самым невинным вещам, которые выйдут из-под моего пера. Соблаговолите, Ваше величество, защитить меня от их ядовитой злобы, дабы я мог по завершении государем столь славного похода доставить ему отдых после побед на поле брани, устроить ему невинное развлечение после доблестных подвигов, повеселить монарха, заставляющего трепетать всю Европу.

Как вы видите, многих комедия задела за живое. Значит, удалось драматургу показать такую черту человеческого характера, создать такой образ, который воспринимался его современниками как совершенно жизненный. Как он будет восприниматься вами, увидим, когда вы прочитаете всю пьесу. Но не забудьте, что оценивать вы должны не героев, а отношение автора к своим созданиям.

Но только давайте сначала разберем понятия **объективного и субъективного смыслов художественного произведения**. Дело в том, что автор, создавая произведение, стремится при помощи художественных образов выразить свое отношение к событиям, героям, жизненным проблемам. Тот смысл, который он вкладывает в произведение, и есть субъективный (т. е. свойственный определенному человеку). А вот то, что получилось, — это объективный смысл (т. е. существующий независимо от сознания отдельного человека). Вы знаете, что абсолютно объективного смысла быть не может. Но в истории литературы бывали случаи, когда авторское видение и восприятие многих читателей расходились весьма существенно.

После того как вы прочли прошения, вы поняли, что пьеса воспринималась по-разному. В чем тут дело? То ли

драматург хотел написать одно, а получилось другое; то ли все всё поняли, но только испугались увиденного.

Чтобы помочь вам в этом разобраться и создать свою интерпретацию комедии и ее ключевого образа, снова обратимся к первоисточнику — предисловию самого драматурга к комедии «Тартюф».

Давайте попробуем выполнить новый тип задания. В указанном предисловии мы выделяем строки, в которых, на наш взгляд, выражены наиболее значимые мысли, а вы, анализируя пьесу, посмотрите, совпадает ли публицистически заявленная позиция писателя с художественной трактовкой.

Предисловие

Об этой комедии было множество толков, долгое время она подвергалась нападкам, и люди, осмеянные в ней, доказали на деле, что во Франции они обладают куда большим могуществом, чем те, кого я осмеивал до сих пор. Щеголи, жеманницы, рогоносцы и лекари покорно терпели, что их выводят на подмостки, и даже притворялись, что списанные с них персонажи забавляют их не меньше, чем прочую публику. *Но лицемеры не снесли насмешек; они сразу подняли переполох и объявили из ряду вон выходящей дерзостью то, что я изобразил их ужимки и попытался набросить тень на ремесло, к коему причастно столько почтенных лиц.* Этого преступления они мне простить не могли, и все как один с неистовой яростью ополчились на мою комедию. Разумеется, они побоялись напасть на то, что более всего их уязвило: они достаточно хитроумны и многоопытны и ни за что не обнажат тайников своей души. *По своему достохвальному обычаю, защиту своих интересов они выдали за богоугодное дело — если их послушать, «Тартюф» есть фарс, оскорбляющий благочестие.* Эта комедия, мол, от начала до конца полна мерзостей, и все в ней заслуживает костра. В ней каждый слог нечестив, каждый жест богопротивен. Беглый взгляд, легкий кивок, шаг вправо или влево — все это неспроста, и они, мол, берутся раскрыть

мои зловерные замыслы. Тщетно представлял я комедию на просвещенный суд моих друзей, на рассмотрение публики: внесенные мною поправки, высочайший отзыв короля и королевы, смотревших комедию, одобрение принцев крови и господ министров, почтивших представление своим присутствием, свидетельство высокочтимых особ, которые сочли комедию полезной, — все это не послужило ни к чему. Недруги вцепились в нее мертвой хваткой, и до сей поры, что ни день, какой-нибудь ревностный вития по их наущению публично осыпает меня благочестивыми оскорблениями и милосердными проклятиями.

Я бы не придавал большого значения тому, что они говорят, если бы не ловкость, с которой они обращают в моих врагов людей, уважаемых мною, и вербуют своих сторонников среди истинных приверженцев добродетели, злоупотребляя доверчивостью и легкостью, с какою те, обуреваемые благочестивым пылом, поддаются внушению. Вот что вынуждает меня защищаться. Не перед кем иным, как перед истинно благочестивыми людьми хочу я оправдать направление моей комедии, и я всячески заклинаю их не осуждать понаслышке, отбросить предубеждение и не быть на поводу у тех, кто позорит их своим кривлянием.

Всякому, кто возьмет на себя труд беспристрастно рассмотреть мою комедию, станет ясно, что намерения мои отнюдь не вредоносны и что в ней нет никаких посягательств на осмеяние того, пред чем подобает благоговеть; что я принял все предосторожности, каких требовал столь щекотливый предмет; что я употребил все свои способности и приложил все старания к тому, чтобы противопоставить выведенного мною лицемера человеку истинно благочестивому. С этой целью я потратил целых два действия на то, чтобы подготовить появление моего нечестивца. Зритель не пребывает в заблуждении на его счет ни минуты: его распознают сразу по тем приметам, которыми я его наделил; от начала до конца пьесы он не

произносит ни одного слова, не совершает ни одного поступка, которые не изобличали бы перед зрителями негодяя и не возвышали бы истинно добродетельного человека, противопоставленного ему мною.

Я прекрасно понимаю, что вместо ответа эти господа начнут вразумлять нас, что, мол, театру не подобает заниматься таким предметом. Но я хотел бы задать им, с их позволения, вопрос: как они могут обосновать сию блестящую мысль? Это утверждение они заставляют принимать на веру, не утруждая себя никакими доказательствами. А между тем они должны были бы помнить, что у древних комедия берет начало из религии и что она была в свое время составною частью тогдашних религиозных действий; что у наших соседей, испанцев, редкое празднество обходится без комедии; что и у нас она возникла благодаря стараниям братства, коему и поныне принадлежит Бургундский отель; что это место было отведено для представления наиболее значительных мистерий; что там сохранились тексты комедий, оттиснутые готическими литерами и подписанные одним из докторов Сорбонны; что, наконец, — дабы не ходить за примерами слишком далеко — и в наше время ставились духовные пьесы г-на де Корнеля, вызывавшие восторг всей Франции.

Коль скоро назначение комедии состоит в бичевании людских пороков, то почему же она должна иные из них обходить? *Порок, обличаемый в моей пьесе, по своим последствиям наипаснейший для государства, а театр, как мы убедились, обладает огромными возможностями для исправления нравов.* Самые блестящие трактаты на темы морали часто оказывают куда меньшее влияние, чем сатира, ибо ничто так не берет людей за живое, как изображение их недостатков. Подвергая пороки всеобщему осмеянию, мы наносим им сокрушительный удар. *Легко стерпеть порицание, но насмешка нестерпима. Иной не прочь прослыть злодеем, но никто не желает быть смешным.*

Меня укоряют за то, что я вложил благочестивые слова в уста обманщика. Но как же я мог этого избежать, задаваясь целью изобразить лицемера? Вполне достаточно, на мой взгляд, что я обнажаю преступную подоплеку его речей и что я изъял из них те священные обороты, употребление коих с дурной целью резало бы наш слух. «Позвольте! Но ведь в четвертом действии в его тирадах извращается нравственность!» Да, но разве это извращение нравственности не навязло у нас в зубах? Разве в моей комедии оно пользуется новыми аргументами? Можно ли опасаться, что суждения, столь единодушно презируемые, окажут влияние на умы, что они становятся вредоносными, будучи произносимы со сцены, что они хоть сколько-нибудь убедительны в устах негодяя? Подобные опасения решительно ни на чем не основаны, а потому следует либо принять комедию о Тартюфе, либо отвергнуть все комедии вообще.

Этого-то и добивается кое-кто с некоторых пор; никогда еще на театр так не ополчались. Я не могу отрицать, что некоторые князья церкви осуждали комедию, но нельзя отрицать и того, что иные из них относились к ней более благосклонно. Следовательно, их авторитет, на который ссылаются сторонники строгостей, подрывается существующим разногласием. Из того, что эти умы, просветленные одною и тою же премудростью, придерживались различных мнений, вытекает лишь то, что они понимали комедию по-разному: одни рассматривали ее нравственную сторону, другие обращали внимание на ее безнравственность, не отличая комедию от тех непристойных зрелищ, которые с полным правом можно было назвать срамными играми.

Рассуждать следует о сути вещей, а не о словах; споры по большей части вызываются взаимным непониманием, тем, что под одним и тем же словом подразумеваются противоположные понятия, а потому необходимо сорвать с комедии покров двусмысленности и, рассмотрев истинную

ее сущность, установить, заслуживает ли она осуждения. И тогда, конечно, будет признано, что коль скоро она есть плод поэтического искусства, сочетающий в себе приятность и поучительность с целью обличения людских недостатков, то было бы несправедливо налагать на нее запрет.

Я знаю людей столь изысканного образа мыслей, что для них любая комедия нестерпима. Они считают, что чем она благопристойнее, тем опаснее, что изображаемые в ней страсти тем сильнее трогают, чем они благороднее, и что такого рода представления пробуждают в сердцах сочувствие. Я не вижу большого греха в сочувствии страстям благородным. Не чересчур ли высока та ступень добродетели — полное бесстрашие, — на которую эти люди хотят поднять наши сердца? Я не уверен, что такое совершенство окажется по силам человеческой природе. *Не плодотворнее ли старания, направленные на то, чтобы очистить и смягчить людские страсти, нежели попытки их искоренить?* Я признаю, что есть места, посещение которых более похвально, чем посещение театра. Если надлежит безоговорочно осудить все, что не имеет прямого касательства к Богу и спасению души, то сюда надо будет причислить и комедию, и тогда я не стану возражать, чтобы и ее осудили вместе со всем остальным. Но если допустить, что в благочестивых занятиях дозволительны перерывы и что людям необходимы развлечения, то я осмеливаюсь утверждать, что нельзя найти развлечение более невинное, нежели комедия. Однако я заговорился. Мне хочется закончить мое рассуждение словами одного великого принца, сказанными о комедии «Тартюф».

Спустя неделю после того, как на нее был наложен запрет, при дворе была играна пьеса под заглавием «Скарамуш-отшельник». После представления король сказал великому принцу: «Хотел бы я знать, почему те, кого так оскорбляет комедия Мольера, молчат о «Скарамуше»?» А принц на это ответил: *«Причина в том, что в комедии о Скарамуше высмеиваются небеса*

и религия, до которых этим господам нет никакого дела, а комедия Мольера высмеивает их самих, и вот этого они стерпеть не могут».

ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК

Комедия в пяти действиях

В сокращении

Действующие лица

О р г о н.

Г-жа Пернель — его мать.

Эльмира — его жена.

Дамис — его сын.

Мариана — его дочь.

Валер — молодой человек, влюбленный в Мариану.

Клеант — брат Эльмиры.

Тартюф — святоша.

Дорина — горничная Марианы.

Г-н Лояль — судебный пристав.

Офицер.

Флипота — служанка г-жи Пернель.

Действие происходит в Париже, в доме Оргона.

Действие первое

Явление первое

Г-жа Пернель, Эльмира, Мариана, Дамис,
Дорина, Флипота.

Г-жа Пернель

Флипота! Марш за мной!.. Уж пусть они тут сами...

Эльмира

Постойте, маменька! Нам не поспеть за вами.

Г-жа Пернель

Вам прежде бы меня уважить, не теперь.

Без ваших проводов найду я, где тут дверь.

Эльмира

О нет! Вас проводить велит нам чувство долга.

Но почему у нас вы были так недолго?

Г-жа Пернель

А потому, что мне весь этот дом постыл
И ваши дерзости сносить нет больше сил.
Меня не ставят в грош, перечат, что ни слово.
Поистине для них нет ничего святого!
Все спорят, все орут, почтения нет ни в ком.
Да это не семья, а сумасшедший дом!

Дорина

Но...

Г-жа Пернель

Милая моя! Я замечала часто,
Что слишком ты дерзка и чересчур горласта.
Советов не прошу я у нахальных слуг.

Дамис

Однако...

Г-жа Пернель

Ты дурак, мой драгоценный внук,
А поумнеть пора — уж лет тебе немало.
Я сына своего сто раз предупреждала,
Что отпрыск у него — изрядный обормот,
С которым горяшка он досыта хлебнет.

Мариана

Но, бабушка...

Г-жа Пернель

Никак, промолвила словечко
Тихоня внученька? Смиренная овечка?
Ох, скромница! Боюсь, пословица о ней,
Что в тихом омуте полным-полно чертей.

Эльмира

Но, маменька...

Г-жа Пернель

Прошу, дражайшая невестка,
Не гневаться на то, что выскажусь я резко.
Была б у них сейчас родная мать в живых,
Учила б не тому она детей своих —
И эту дурочку и этого балбеса.
Вы расточительны. Одеты, как принцесса,
Коль жены думают лишь о своих мужьях,
Им вовсе ни к чему рядиться в пух и прах.

К л е а н т

Сударыня!..

Г-ж а П е р н е л ь

А, вы, ее милейший братец!

Ужели тот поток нелепиц и невнятиц,

Что вы дерзаете за мудрость выдавать,

Хотите на меня извергнуть вы опять?

На месте вашего почтеннейшего зятя

И сына моего, на споры слов не тратя,

Я перестала бы пускать вас на порог.

Я не хочу вам льстить. Правдивость не порок.

Д а м и с

Ваш господин Тартюф — ловкач,

в том нет сомненья...

Г-ж а П е р н е л ь

Он — праведник. Его благие наставленья

Душеспасительны. Для всей семьи позор,

Что ты, молокосос, с ним затеваешь спор.

Д а м и с

А что же мне, молчать пред гостем тем незванным,

Который здесь, у нас, всевластным стал тираном?

Не сделай ничего, ни слова не скажи

Без позволения несносного ханжи!

Д о р и н а

Послушать проповедь настырного святоши,

Так плохи будут все, лишь он один хороший.

С утра до вечера он поучает нас.

Г-ж а П е р н е л ь

И он, конечно, прав. В грехе ваш дом погряз.

Вас этот человек ведет на путь спасенья,

И сын мой учит вас питать к нему почтение.

Д а м и с

Никто мне не внушит, ни даже мой отец,

Что праведник Тартюф. Он попросту шельмец.

Стоять буду на том, пускай меня повесят!

Меня его слова, его ужимки бесят.

До крайней крайности претит мне этот гусь,

И я предчувствую, что с ним еще схвачусь.

Д о р и н а

Нет, вы подумайте! Уж это ли не чудо?
Явился Бог весть кто, неведомо откуда,
В отрепьях нищенских, едва не босиком,
И — нате вам, уже прибрал к рукам весь дом.
И до того дошло, что вопреки рассудку
Мы все теперь должны плясать под его дудку.

Г-ж а П е р н е л ь

И лучше бы для вас не препираться с ним,
А жить, как учит он, по правилам святым.

Д о р и н а

Святым? Пристало ль вам такое легковере? Да разве святость тут? Одно лишь лицемерье!

Г-ж а П е р н е л ь

Что-что?

Д о р и н а

Его слуга, Лоран, ему под стать,
Обоим ни на грош нельзя им доверять.

Г-ж а П е р н е л ь

Мне до его слуги нет никакого дела,
Но за хозяина могу ручаться смело.
Нетрудно угадать, чем разозлил он вас:
Он говорит в глаза всю правду без прикрас.
Он, лютей враг греха и чистоты радеть,
Клеймит безнравственность и славит добродетель.

Д о р и н а

Вот как? А почему нравоучитель сей
От дома нашего отвадил всех гостей?
Неужто их приезд столь неугоден Богу,
Чтоб из-за этого бить каждый раз тревогу?
Мы все свои, и я вам истину скажу:
Он просто-напросто (*указывает на Эльмиру*)

ревнует госпожу.

Г-ж а П е р н е л ь

Уж ты не знаешь, что и выдумать от злости.
Но подозрительны все эти ваши гости
Не одному ему. Не столь большой секрет,
Что строй теснящихся под окнами карет
И вечно у крыльца толкущиеся слуги
Давно уже глаза мозолят всей округе.

Пусть эти сборища невинные. Но вы
Должны понять, что тут есть пища для молвы.

К л е а н т

А вам хотелось бы укрыться от злоречья?
Положим, болтовню пустую смог пресечь я,
Отрекшись для того от преданных друзей, —
Но разве жизнь тогда не стала бы грустней?
А если б, вашему последовав совету,
Мы и отважились пойти на жертву эту,
Зловредным сплетникам заткнули б разве рты?
На свете нет лекарств противу клеветы.
Нам надо честно жить и презирать злословье,
А сплетники пускай болтают на здоровье.



Вопросы и задания

Надеемся, что вы нашли возможность прочитать комедию полностью.

Помните, во втором прошении Мольер очень боялся, что тартюфы восторжествуют. Автор сделал все, чтобы этого не произошло. Покажите, какие приемы драматург для этого использовал. И еще один вопрос. Как вы считаете, что в образе Тартюфа принадлежит XVII веку, а что имеет вневременное значение? Можно ли сказать, что образ Тартюфа вечен? Если да, то в чем, по-вашему, смысл послания автора будущим поколениям?



Творческий практикум

Родиной Ренессанса стала Италия. Эстетические принципы Возрождения наиболее ярко заявили о себе именно здесь. Аналогична роль Франции в зарождении классицизма. Произведения этого направления обращаются не к чувствам человека, а вызывают к его долгу. Человек должен подавить свои чувства, если они идут в ущерб общественному, государственному благу. Отсюда требования абсолютной ясности содержания. Во всем должны быть порядок, ясность и точность. Герой — носитель определенной черты, страсти или порока.

Если говорить о драматических произведениях, то в них должно быть пять актов, пишутся они определенным стихом, александрийским. Драматург обязан выдерживать единство времени (действие не должно занимать более суток), единство места (действие должно происходить в одном месте), единство действия (ничто постороннее не должно мешать главному действию). Предполагалась строгая иерархия жанров: о высоком — надо говорить в трагедии, о низком — в комедии. Это основные правила классицизма, хотя и не все.

Пожалуйста, рассмотрите комедию «Тартюф» с точки зрения соответствия или несоответствия этим правилам классицизма.

На ваш взгляд, можно отнести это произведение к направлению классицизма или нет? Не забывайте о доказательствах и особых трудностях применения схем к великим произведениям. Успехов вам.



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РЕАЛИЗМ

Рамки направлений, жанров, конечно, достаточно условны. И те, кто выполнял задание предыдущего раздела, литературоведческое по сути, но творческое по характеру, наверняка поняли это.

Над строгими рамками классицизма иронизировали уже в XVIII веке. Вольтер говорил, что «все жанры хороши, кроме скучных», а Дидро заявлял: «Я не знаю ни одного правила, которого гений не мог бы с успехом нарушить». Имена этих французских писателей вошли в историю мировой культуры с неизменным приложением — просветители.

С идеями просветителей вы уже познакомились, читая романы Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», Д. Свифта «Путешествие Гул-

ливера», Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Помните, что отличало героев этих произведений? Правильно: сознание того, что сила разума и воли побеждает любые обстоятельства. Робинзон ведь смог в нечеловеческих условиях не только остаться человеком, но и «очеловечить» Пятницу. Хотя Дефо прекрасно знал, что прототип Робинзона за четыре года пребывания на необитаемом острове просто одичал.

Такова была сила веры просветителей в человеческую волю и разум.

Человеческий характер в произведениях просветительского реализма создается как воплощение разумного начала, поступки героя часто обосновываются не только средой, но и разумом. В литературе этого направления появляются новые герои. Н. Г. Чернышевский заметил, что вместо героев и полководцев авторы стали изображать обыкновенного человека, который переживает простые радости и скорби, знакомые нам всем из собственного опыта.

Вместе с этим направлением в литературу входит мощное воспитательное начало «прямого действия». По мнению, например, Дидро, искусство должно воспитывать людей в духе гражданских добродетелей и мужества, воодушевлять их и вести за собой.

Если вы вспомните оды Ломоносова, стихи Державина, комедию «Недоросль» Фонвизина (мы перечисляем только то, что вы изучали в предыдущем классе), то вы увидите, что классицизм и просветительский реализм нашли свое отражение и в русской литературе.

Мы так подробно говорим об этих двух направлениях потому, что именно они предопределили появление и мощное развитие в последующих веках двух основных художественных творческих методов — романтизма и реализма, ставших более чем литературными направлениями.

Романтизм и реализм — это мировоззрение автора, способ восприятия и изображения окружающего мира. Об этом мы будем говорить в следующем разделе, но сначала ответьте на вопросы.

Что такое тема, мотив, сюжет?

Что такое литературное направление и какова его связь с эпохой?

Свободен ли писатель от влияния эпохи и литературного направления?



Творческий практикум

Откройте комедию Д. И. Фонвизина «Недоросль» и определите в ней черты классицизма и просветительского реализма. По вашему мнению, можно ли считать Митрофанушку вечным образом?



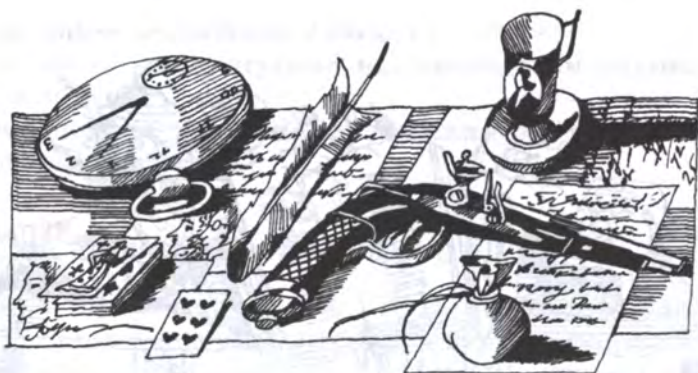
Советы библиотеки

Вы уже девятиклассники. У вас увеличилась учебная нагрузка. Мы это понимаем. Но наши советы относятся не к школе, а ко всей вашей нынешней и будущей жизни, к тому, что называется становлением культуры личности.

Прочитайте, пожалуйста, произведения Фридриха Шиллера и хотя бы несколько стихотворений Иоганна Вольфганга Гёте. А те, кто по-настоящему полюбил литературу, постарайтесь прочитать трагедию Гёте «Фауст» — «величайшее создание поэтического духа», как назвал ее А. С. Пушкин.



*Литература
XIX века*



«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В истории культуры каждого народа есть время, когда высшие достижения национальной культуры обогащают культуру мировую и становятся неотъемлемой ее частью. Таким временем для России стал XIX век, по праву названный «золотым». А солнцем, под лучами которого это чудо сияло, стал А. С. Пушкин.

«Солнцем нашей поэзии» назвал А. С. Пушкина его друг и современник, писатель В. Ф. Одоевский. Какой чудесный, ясный и точный образ. Вот только в некрологе на смерть поэта написано, что солнце «закатилось». На самом деле оно светит. И светить будет до тех пор, пока существовать будет Россия и русская культура. Поэтому Пушкин — это наше настоящее и одновременно наше будущее. Именно о таком понимании великого национального поэта говорит в своем эссе современный русский писатель Сергей Залыгин.

С. П. Залыгин

На пороге будущего

Не знаю, стал ли я с годами лучше понимать Пушкина. Но знаю, что я все больше и больше стал ему удивляться, удивляться этому чуду бесконечно и умом, и чувством, и всем опытом своей жизни. Не устаю преклоняться перед ним.

И вот уже я не могу снять с полки томик Пушкина просто так, между прочим, а должен сначала к этому под-

готовиться, перевести дыхание, отдать себе отчет в том, что я делаю: протягиваю руку к Пушкину.

Он — это самое светлое и разумное среди всего того, что обещало людям бессмертие, и не он, а мы виноваты в том, что столь безрассудно, столь варварски к этому обещанию отнеслись, вот и не знаем сегодня — а будет ли у нас завтра?

Он знал, мы — не знаем.

Мы виноваты перед ним, а не только «они» — его современники. Мы!

Как будто они были так глупы, так ограничены, что, за самым редким исключением, не понимали Пушкина, а мы, всей своей громадой, поняли?!

А вот читаешь более чем современного поэта или исследователя и видишь: не Пушкин ему дорог, не о Пушкине он говорит — он сам для себя превыше всего, и вот неймется ему похвастаться: смотрите, смотрите, как я могу, как умею! Никто до меня так не умел, как я!

И это в то время, когда уже ясно, что пушкиноведение — это не только литературоведение, это — россиеведение, это — человековедение, это — история и футурология. Сумеет ли овладеть, этой «логией», — будем жить, не сумеем — ?..

Пушкин даже гибелью своей высказал нам истину, а мы?

Поняли его? Услышали? Вняли? И не запоздаем ли его понять?

Видите, сколько вопросов. Они заданы всем нам. И от того, как мы на них ответим, зависит не только будущее каждого человека, но и судьба нашей Родины — России.

Александр Сергеевич Пушкин

* * *

Exegi monumentum¹.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрейского столпа.

¹ Я воздвиг памятник (лат.).

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

Это стихотворение написано А. С. Пушкиным в 1836 году. Оно стало не только духовным завещанием поэта, но и лейтмотивом всего его творчества.

Перечитайте это стихотворение вслух, вдумываясь в каждое слово и понимая, что это послание именно вам.



ПУШКИН — ПИСАТЕЛЬ ИЛИ ПОЭТ?

Вы никогда не задумывались, почему Александра Сергеевича Пушкина называют поэтом, а не писателем? Ведь прозы он написал не меньше, чем стихов. И его прозаические произведения оказали ничуть не меньшее влияние на развитие русской литературы, чем поэтические.

Тогда почему прежде всего поэт? Подумайте над этим вопросом вместе с известным литературоведом П. В. Палиевским.

О границе между прозой и поэзией у Пушкина

...Проза Пушкина насквозь пропитана поэзией, поэзия — прозой. Прочертить между ними ясную линию, кажется, невозможно. В то же время мы хорошо знаем, что разница эта существует; она чрезвычайно важна для Пушкина — высказывания его на этот счет известны.

...Прямое соседство поэтического и прозаического повествования в произведениях Пушкина. Их соотношение может быть разным — от одной поэтической строчки до цитаты, как бы заостряющей мысль среди мерного прозаического рассказа (так, например, говорится о переплетчике в «Гробовщике», «коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплете», или об англомане Муромском в «Барышне-крестьянке» — что «на чужой манер хлеб русский не родится»), до целых роскошных поэм, обрамленных прозой для их наилучшего блистания («Египетские ночи»). Есть еще прозаические вставки среди привычного течения стиха, как в «Борисе Годунове», и тому подобное.

...Мы подходим... к границе между поэзией и прозой. Ее у Пушкина действительно нет. Есть различия, но их Пушкин постоянно использует для выражения чего-то единого, более важного, чем они сами. Настоящая же граница пролегает для него между поэтическим и прозаическим, понимаемым как самые широкие противостоящие друг другу начала. При этом под поэтическим подразумевается жизнь, сознающая свой идеал и добивающаяся его; под прозаическим — отрезвляющий мир необходимости и «сила вещей». Оба начала, естественно, тоже глубоко проникают друг в друга и пронизывают все жанры, и прозаические, и поэтические. Но с точки зрения развития, направления движения, жизненной задачи и внутреннего строя человека Пушкин безоговорочно на стороне поэзии. «Боюсь, — пишет он В. И. Туманскому, — чтоб проза жизни твоей не одолела поэзии души».

Отсюда мы могли бы видеть, что проза и поэзия, когда Пушкин помещает их рядом, не столько противостоят друг другу, сколько соревнуются в выражении поэтического...

Он идет навстречу прозаическому, чтобы преобразовать его поэзией. Точнее, чтобы пробудить в нем самые силы преобразования, как бы глубоко они ни дремали, ожидая движения. Вне всякого сомнения, это отражается и на жанровом взаимодействии. Так он, как бы между делом, «похищает» у прозы роман, возвращает драме шекспировское поэтическое начало (потому что никогда не следует забывать, что Шекспир в своих трагедиях — поэт), перелагает в поэзию народные сказки, втягивая в эту задачу и Жуковского, и так далее и тому подобное. Но главное — он всем своим делом, независимо от жанров, вступает в общение с прозаическим, ища возможности его перерождения — подчинения поэтическому началу.

Как человек исключительно трезвый, он, разумеется, понимает, что реальная жизнь мало похожа — во всяком случае, в большинстве ее внешних данных — на это желаемое состояние. Но он твердо верит во внутренне заложенный в ней же, в этой жизни, ее идеал; он умеет этот идеал поэтически воспроизвести; и, по-видимому, считает, что благодаря этому идеалу все живое только и держится, хотя на поверхности он и закрыт толщей чужеродного материала, подлежащего переработке...

С этой точки зрения традиционное представление о переходе Пушкина от поэзии к прозе нуждается в уточнении. Говорить нужно, скорее, о поглощении Пушкиным прозы или, еще точнее, — разных областей прозаического: сначала поэзией, а потом и прозой и поэзией вместе. Итог его пути высказан в «Памятнике»: «И славен будучи, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит», то есть все-таки поэт. Эти строки воспринимаются порой как некое меланхолическое признание грядущей победы прозаизма. Незадолго до того друг Пушкина Баратынский напечатал в «Московском наблюдателе» стихотворение «Последний поэт»:

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята...

Однако у Пушкина сказано не «последний», а «хоть один». Для него один поэт был вполне достаточен, и никакого отчаяния в его завете нет. Ответ на угрозы прозаизма был найден им давно, а в 1830 году даже отлит в словесную формулу: «поэт действительности».



РУССКИЙ РОМАН

А разве есть русские романы?

*А. С. Пушкин.
«Пиковая дама»*

Мир, дом, покой — пожалуй, это все, к чему стремятся самые близкие Пушкину герои его произведений 30-х годов. Простое счастье простого человека. Но путь к нему непрост, а порой трагичен, то не виден в непогоду, то залит кровью.

Гремят стихии, а люди малы. Остаться человеком, сохранить верность любви и память о близких, не ожесточиться и не сломаться, не потерять свою дорогу — это, может быть, главная задача в жизни. Решать ее приходится всем, а решить — не каждому.

Пушкинские герои захвачены природными стихиями:

«Эй, пошел, ямщик!...» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!...»

«Бесы»

«Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность

исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления...

«Метель»

«Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла затрещали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите»...

В сию минуту приказные показались в окнах, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

...Искры полетели огненной метелью, избы загорелись».

«Дубровский»

«Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? и чем помочь?»

«Пир во время чумы»

«Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты... Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега».

«Пиковая дама»

«Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облежала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом».

«Капитанская дочка»

Природные стихии у Пушкина — символ исторических катастроф, жизненных потрясений, неумолимой общей судьбы, играющей, как щепкой, маленькими судьбами отдельных людей. И как человеку, потерявшему дорогу в смуте войны или беды, не поддаться малодушию, как сделать выбор между жизнью и честью, совестью и подлостью?

Замысел «Капитанской дочки» возник тогда, когда Пушкин стал работать над «Историей Пугачева». Оказалось, что нечего выдумывать небывалые сюжеты, надевать бумажных героев роковыми страстями, когда реальная русская история — это живой кладезь сюжетов и героев. Пушкин открывал события шестидесятилетней давности, как Колумб открывал Америку. Перед ним представляли события и люди, о которых не прочитаешь и которых из головы не выдумаешь.

Интерес Пушкина к XVIII веку был постоянным и неугасимым. Именно в этом веке выковывалось русское дворянство, а с ним и все русское общество. Все, что дорого и ненавистно, страшно и смешно было поэту в России, корнями уходило в «дедовский» век. Поэтому он обращается к новому для себя жанру исторического романа. В западноевропейской литературе этот жанр уже усердно разрабатывался, и Пушкин высоко ценил романы Вальтера Скотта. Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы слепо следовал образцам, пусть даже лучшим. Он взял представление о романе как о жанре, в котором частная судьба показывается через историю, а история через частную судьбу: «В наше время под словом «роман» разумею историческую эпоху, развитую на вымышленном повествовании». Но Пушкин избежал «романических

затей»: излишней занимательности в ущерб правде истории и правде характеров, трескучей эффектности, сюжетных вывертов с целью заинтриговать читателя. «Капитанская дочка» строга, безыскусна и внешне скорей напоминает документ, чем художественное произведение.

В 1833 году Пушкин отправляется на Волгу и в Оренбургские степи собирать материалы для задуманного им исторического труда — «Истории Пугачева». Одновременно зреет замысел будущего романа. Сначала Пушкин хотел сделать главным героем офицера, перешедшего на сторону Пугачева. Но то, что он узнал, прочитал в архивах и услышал от очевидцев, укрепило его в мысли, что такой поступок для дворянина был совершенно нетипичным. Дубровских в пугачевском войске не было. Пугачевский бунт как раз и обозначил пропасть между двумя Россиями — дворянской и крестьянской. В записке, адресованной Николаю I, Пушкин написал: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства».

Но «Капитанская дочка» — роман, а не историческое исследование. История в «Капитанской дочке» — это маленькие человеческие судьбы, переплетенные с историей народа, страны.

Произведение было опубликовано в 1836 году. Его появление означало рождение русского романа. Русский роман — это целая глава в книге мировой литературы. И начал эту главу Пушкин. «Капитанская дочка» стала для русской прозы тем же, чем были для греков поэмы Гомера. «Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести, — писал Н. В. Гоголь, — кажутся приторной размазней. В первый раз выступили истиннорусские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все — не только самая правда, но еще как бы лучше ее».

В справедливости этих слов нам и предстоит убедиться.

Александр Сергеевич Пушкин

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь смолоду.

Пословица

Глава I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

- Был бы гвардии он завтра ж капитан.
- Того не надобно; пусть в армии послужит.
- Изрядно сказано! пускай его потужит...

.....
Да кто его отец?

Княжнин

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава Богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как

нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel¹, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои уп-

¹ чтобы стать учителем (*франц.*).

ражжения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем¹, гоня голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменялась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь², ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свываи и обычаи, всегда старалась засушить несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погружился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

¹ *Нéдоросль* — в XVIII веке в России: молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший на государственную службу.

² *Придвóрный календáрь* — ежегодное издание, в котором печатались списки придворных служащих и лиц, награжденных орденами.

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще...

«Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его паспорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лись шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выра-

жений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут¹, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем Бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это, — говорил он, — необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал Бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и бес-

¹ *Рэкрут* — солдат-новобранец.

покоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это нагрузился? Ахти Господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь, — ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый к услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностью. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление, — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...» — «Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги, или я тебя взащеи прогону».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не

простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

Глава II

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонushка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез;
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только побрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или, точнее, по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облежала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было

его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться, — говорил он сердито, — воротился бы на постоянный двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживал упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила¹ или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А Бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли, где дорога?

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава Богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя Божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

¹ Жило — обитаемое место, жилье.

— А почему ехать мне вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоль потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил цинковку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барской двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца мое-

го вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника¹: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку

¹ *Целовальник* — продавец в питейном заведении, кабаке.

чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казачье питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему, и взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе Бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, коноплю клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая индифферентный разговор. — Стали было к вечеру звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

«Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирённого после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твоё холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп.

— Господи Владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел

и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держат в ежовых рукавицах»... Что такое ешovy рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукавицах»? — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно, ешovy рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где ж он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом» — а!

наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

«Час от часу не легче! — подумал я про себя, — к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

Глава III КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в раз-

мышления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломой. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хо-

зайка перебила затвержденную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прощу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неугомиый вопрошатель. «Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захоlustье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иванович и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник¹, молодой и статный казак. «Максимиыч! — сказала ему капитанша. — Отведи господину офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимиыч, — сказала капитанша, — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимиыч, все ли благополучно?»

¹ Урядник — казачий унтер-офицер.

— Все, слава Богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с Богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи Владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, — сказал он мне по-французски, — что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени

Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русскими волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко

ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава Богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестой». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять уgomоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи Господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузмич, — баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я, — так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет

не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола: Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

Глава IV

ПОЕДИНОК

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечною. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягочала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я чи-

тал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабрым, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междоусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всемиутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплеты.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозой. «Посмотрим, — сказал он, — выдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, — но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице.

— Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию¹.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать! Как это вас Бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Иваныча заколоть, и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Ивановичем побрались? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: Бог с ним, с Алексеем Ивановичем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич, — делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава Богу, ходил я под шведа и под турку: всего на-смотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он. — Коли уж мне и вмешаться в это

¹ *Сатисфакция* — удовлетворение в форме поединка, дуэли за нанесенное оскорбление.

дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна правилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты, — сказал он мне сухо, — без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так, — сказал он мне с довольным видом, — худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты, — я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затынул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь...

Вышла разладаца. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиды; по крайней мере никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, — сказал он мне, — надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чу-

лан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в Господа Бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». — «Ах! мой батюшка! — возразила комендантша, — да разве муж и жена не один дух и единая плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассадь их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию¹, чтоб молили у Бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друга друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как Бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, — отвечал он, — Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава Богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» — И мы расстались как ни в чем не бывали.

¹ *Эпитимия* (*епитимья*) — наказание верующих за нарушение церковных правил.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорой с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь.

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во

мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

Глава V

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.
Если хуже меня найдешь, вспомянешь.

То же

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках.

Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? как-ков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Всё в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом, — всё без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава Богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнися! опомнися! — повторял он. — Слава тебе, Владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, — сказала она. — Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женою, согласись на мое счастье». — Она опомнилась. «Ради Бога, успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава Богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью. «Но подумай хорошенько, — прибавила она; — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрину, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъясил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия

и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Грине-ву, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостойн, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю Бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.».

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поспешил, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно, тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь умирить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь, — сказал он, чуть не зарыдав, — что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами. — Господи царю небесный! Так изволь-ка прочесть, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, — повторял он, — вот каких мило-

стей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терзался в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!» — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля Господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку, — ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич, — отвечала Маша, — я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле Божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — Бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, су-

дарь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, — посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испугать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и так с испугу слегла, и за ее здоровье Бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава Богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то был молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что соплете меня свиной пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабри-

ным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

Глава VI

ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убийство Траубенберга, своевольная

перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатъича и казачьего урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости
капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно, и к совершенному уничтожению одного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто три-

дцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покаместь еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей

не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запереть Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к такому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна готовила совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша, — уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи Боже мой! Вишь, какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, порошу много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то по-

тому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Подсланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатъич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузмич, — перервала ко-

мендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батька мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнью в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава Богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силен, — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому

юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого роста, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузмич, — али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

— Якши, — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из

инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более

надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава Богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка, — возразил Иван Кузмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса¹; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться негоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Ниж-

¹ Сикýрс — помощь, поддержка; войска, посланные на помощь.

неозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи Владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застаю Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами. — Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, Господь приведет нам друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

Глава VII

ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго,
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься

с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустью разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. — Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом. — «Не успела, — отвечал Иван Игнатьич, — дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетаскивали накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постойм сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на

их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалеко, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомянув, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы

лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготавливались к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в часток. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти Бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, — сказал комендант, — будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечьхватила в самую средину толпы. Мятежники отхлынули в обе

стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич. — Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот уж вам будет, государевым послушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казачий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казачьи старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым

голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладинах очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай, — сказал ему Пугачев, — государю Петру Феодоровичу!» — «Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинута на шею петля. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих преступлениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою

руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

Глава VIII

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Незванный гость хуже татарина.

Пословица

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько

Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради Бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадья. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава Богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. — «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... Бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи Владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иванович? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с нами пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет, то будет; авось Бог не оставит!

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы

и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава Богу! — вскричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошеники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава Богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто же он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький, а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготавлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де

«великий государь требует тебя к себе». — «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на груди: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспаривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и до-

вольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкой. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затынем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!» Сосед мой затынул тонким голосом заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что завтра мне, доброму молодцу, в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и пристились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накиннули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя гибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я коле-

бался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебя судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, Владыко! — сказал он перекрестившись. — Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

Глава IX

РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригорш-

нями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, — сказал он мне. — Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие! — Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина. — Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было посадить его.

В это время, из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудой на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крикнул и стал объясняться.

— Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах, да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придется нам сызнова заводится всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне

попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводи и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, — примолвил, запинаясь, урядник, — жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — «Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодарю от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». — «Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь, — вечно за вас буду Бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало известно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

Глава X

ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в ночи привести под град.

Херасков

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая мастерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, — сказал он. — Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать

верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно*? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явную неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных

советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать соби́рание голосов. Господин коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах

здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приблизился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была губительна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая нестерпимая. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетающим на их

дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас Бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

— Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною, — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. — Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы

всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозитя, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреевич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия прищпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опророметью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, курия свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам как к отцу родному; ради Бога, не откажи-

те мне в моей просьбе: дело идет о счастье всей моей жизни.

— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек, — сказал он, качая головою. — На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

— Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm¹, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парাপете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

— О! — возразил генерал. — Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, Бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабину!

¹ Плут (нем.).

— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик. — Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагодарна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

Глава XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

А. Сумароков

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего на-все денег? «Будет с тебя, — отвечал он с довольным видом. — Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — Побойся Бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

— Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: Бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради Бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи Владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами; это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою

за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить али дожждаться свету Божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, — сказал один из мужиков, — сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дождался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшка-

ми, — все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию. — Как поживаешь? Зачем тебя Бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, — сказал мне Пугачев, — от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое на-

мерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрина казнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: за чем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро, — сказал Пугачев. — Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава Богу, — отвечал я, — все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь, — подхватил старичок, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; Бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородинки не вырвал!

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? А?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, каральный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, сто́я правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреевич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять Бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай Бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду Бога молить, а о заячем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровавых привычках того, кто вызывался быть и избавителем моей любезной! Пугачев не

знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что́ станется с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

— Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управлялся ли бы ты с Фридрихом?

— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Досе-

ле оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся.

— Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружаясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по глад-

кому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

Глава XII

СИРОТА

Как у нашей у яблонки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъясняя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:

— Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.

Швабрин побледнел как мертвый.

— Государь! — сказал он дрожащим голосом... — Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

— Веди ж меня к ней, — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице.

— Государь! — сказал он. — Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

— Так ты женат! — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

— Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:

— Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне: — Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина.

— И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.

— Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

— Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал, смеясь, Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.

— Государы! — закричал он в иступлении. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.

— Это что еще? — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостью.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда, — сказал, смеясь, Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остоленый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовления к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне; я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, — говорила попадья. — Привел Бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то

Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем Бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи Бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала

колебалась: известное ей неблагоприятное положение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна

пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливый путь, и дай Бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

Глава XIII

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить позволите мне прежде.

Княжнин

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменяли лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усатый вахмистр. — Вот уж тебе будет баня, и с твоею хозяйюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи Владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяйюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попиروвали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставляю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После все расскажу. А теперь, ради Бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, что на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного. «Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?»

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреевич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела Божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого.

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидаться или нет, Бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединились и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть

о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу¹.

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал, как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть

¹ К этому месту относится «Пропущенная глава», отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе.

опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную Комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

Глава XIV

СУД

Мирская молва —
Морская волна.

Пословица

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но при-

ятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посередине сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливаемой из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого

недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, — сказал он мне нахмурясь, — но видали мы и не таких!» Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

«На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из

города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными извещениями злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчера* злодея. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загрели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства,

которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала,

ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решила помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш.

Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай Бог тебе в женихи доброго человека, не опельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкой, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решила тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исто-

рических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

— Вы верно не здешние? — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так еще молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь.

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом; и, услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощай-

те, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, Господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном¹?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Че-

¹ *Роброн (робронд)* — женское платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча.

рез минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорила с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственно-

ручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приислав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель.



Вопросы и задания

Однажды А. Т. Твардовский сказал, что все современные читатели делятся на тех, кто прочитал «Капитанскую дочку» и кто нет. Конечно, поэт имел в виду не знание сюжета, а то состояние человека, при котором понятие чести, достоинства, порядочности для него не пустой звук, а основа мировоззрения. Видите, какой роман вы только что прочитали. Теперь давайте вместе осмысливать прочитанное. Наши вопросы и задания распределены по разделам. Думаем, что их порядок и последовательность тоже могут стать материалом для размышления.

Гринева и другие

К кому из героев относится эпиграф, поставленный Пушкиным в начале романа?

Что является движущей силой поступков Петра Гринева и Маши Мироновой?

Как повлияло представление Гринева о чести на его судьбу и на сюжет романа?

«Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду». Сопоставление Петруши Гринева с Митрофаном из «Недоросля» Фонвизина очевидно. Но одинаковы ли взгляды Пушкина и Фонвизина на дворянских недорослей? Кто из них — Пушкин или Фонвизин —

согласился бы с мнением историка В. О. Ключевского о дворянских недорослях XVIII века (это высказывание вам знакомо с восьмого класса): «Скромна была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это — пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протопали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых»?

Почему Гринев в конце концов оказался «своим среди чужих, чужим среди своих»?

В черновике романа рукопись П. А. Гринева была адресована внуку. Постаревший Петр Гринев высказывает надежду, что внук сохранит в сердце «два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство». Кто из героев романа обладает этими качествами?

Тема милосердия — одна из центральных в творчестве Пушкина 30-х годов. Гринев и Маша удостоены милости сначала от Пугачева, потом от Екатерины II. Чем были эти милости — проявлением царской воли, закона или человечности? Как на этот вопрос отвечает автор? А каково ваше мнение?

Пугачев

Почему Пугачев сохраняет жизнь Гриневу и в дальнейшем не раз выручает его и Машу?

С какими персонажами романа сопоставлен образ Пугачева? Что можно сказать о Пугачеве, сравнив его с этими героями?

Почему Швабрин перешел на сторону Пугачева?

Или волк, или человек; добрый человек; дорожный; мужичок; посаженный отец; бродяга; собака; разбойник — вот эти эпитеты звучат во второй главе и обращены они все к Емельяну Пугачеву. Имя еще не названо, еще и представить невозможно роль этого человека в истории России и в судьбе Гринева, а Пушкин уже начинает очерчивать характер, не уклады-

вающийся в обычные рамки. Глава за главой строится личность масштабная и противоречивая.

Давайте попробуем составить характеристику Пугачева. Примерный план может быть таким.

1. Портрет Пугачева.
2. Речь героя.
3. Отношение к Пугачеву разных людей.
4. Отношение Гринева к Пугачеву.
5. Сочетание противоречивых черт в характере героя.
6. Что могло побудить его стать самозванцем? Как характеризует Пугачева рассказанная им притча об орле и вороне?

7. Пугачев в роли царя: смешное и страшное.

8. Согласны ли вы с мнением С. М. Петрова, исследователя литературы: «Пушкин изображает Пугачева как талантливого, смелого руководителя крестьянского восстания, подчеркивает его ум, сметливость, храбрость, гуманность, связь с народом. Все эти черты дают нам облик подлинного Пугачева. Для Пушкина они выражали национальный характер русского народа»?

9. Чем близок Пугачев Гриневу и что их разъединяет? Что понял и оценил Гринев в этом человеке и что ему осталось недоступным?

Две России

Эпиграфы к главам романа делятся на две группы: цитаты из поэзии XVIII века, строки из народных песен и пословицы. В чем смысл такого подбора и разделения эпиграфов? Зависит ли содержание главы от эпиграфа?

Вспомните ситуации, когда герои словно бы говорят на разных языках, когда Гринев не понимает разговора русских людей. Почему, по мысли автора, возникает это непонимание?

В пропущенной Пушкиным главе романа после знаменитой фразы, вошедшей и в окончательный текст романа: «Не дай Бог видеть русский бунт, бессмысленный

и беспощадный», — Гринев замечает: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка». Как вы думаете, согласен ли автор с Гриневым? Подтверждает ли текст романа справедливость этих слов? Дает ли роман надежду на объединение крестьян и дворян в единую Россию?

Исследователи отмечают, что композиция романа имеет «зеркальное строение», то есть делится на две, как бы отражающиеся части. Сначала в беде Маша, и Гринев отправляется к крестьянскому царю Пугачеву за милостью. Затем беда настигает Гринева, и уже Маша вынуждена обратиться к дворянской царице Екатерине II. На страницах романа рисуются как бы два государства: дворянское и крестьянское. Похожи они, на одних и тех же принципах построены или они «зеркальны»? (Для ответа обратитесь к тексту. Вспомните, как ведет себя Пугачев в роли царя, как — Екатерина, как ведут себя подвижники Пугачева и как — приближенные царицы, как выглядит «дворец» Пугачева, к одинаковым или разным методам войны и суда прибегают пугачевцы и их противники, и т. д.)

Какое пророческое, символическое значение имеют буран и сон Гринева во второй главе?

Роман

Начнем с «простого» вопроса. Почему же «Капитанская дочка» — роман, а не повесть?

Следующий вопрос непростой. Что является двигателем сюжета произведения — воля истории, судьба или воля героев романа?

Почему героем своего романа Пушкин делает не Швабрину (как, видимо, предполагал сначала), а Гринева?

Случайна или закономерна счастливая развязка романа?

Представим себе, что в «Капитанской дочке» нет... капитанской дочки. Почему же в романе об истории пу- гачевского восстания необходима история любви?

Автор и рассказчик

Почему Пушкин в «Капитанской дочке» использует свой излюбленный прием: передает повествование рассказчику, а не ведет его сам?

Как вы думаете, сумел ли Гринев подняться над своим веком или же он полностью человек своего времени?

Что, по-вашему, дорого Пушкину в Гриневе?

Пушкин в романе выступает в роли издателя рукописи Гринева. «Мы решились, — пишет он в конце романа, — с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и позволив себе переменить некоторые собственные имена». Итак, эпиграфы — единственный «след» Пушкина в романе. Зачем они понадобились писателю? Как эпиграфы характеризуют позицию автора?

Обычно в собрании сочинений Пушкина после текста «Капитанской дочки» печатается так называемая «пропущенная глава». Прочитайте ее и попытайтесь решить, почему Пушкин не включил ее в окончательную редакцию романа.

В тексте романа вы встретите устаревшие нормы русского языка. Найдите их и соотнесите с современными правилами.



Творческий практикум

Помните, П. В. Палиевский в своей статье написал: «Проза Пушкина насквозь пропитана поэзией...» Докажите или опровергните эту мысль на примере романа «Капитанская дочка».

Это задание, конечно, для тех, кто связывает свое будущее с литературой.

А для всех остальных объявляется конкурс на самую интересную, необычную тему сочинения по роману «Капитанская дочка».



СУДЬБА — СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ?

...Г. Пушкин пребывание имел Лукояновского уезда в селе Болдине... во все время проживания его, как известно мне, занимался единственно только одним сочинением.

Из секретного донесения земского исправника С. П. Званцова нижегородскому военному губернатору

Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.

.....
...он не разбирал дороги
Уж никогда...

*А. С. Пушкин.
«Медный всадник»*

Если бы холера не задержала Пушкина, так рвавшегося к невесте, в сельце Болдине осенью 1830 года, русская литература бы обеднела на два десятка гениальных произведений. Никогда Пушкин не испытывал такого творческого взлета, как в этот период, названный впоследствии «болдинской осенью». Случайность? Но как объяснить, что через три года «болдинская осень» повторилась?

В отдаленное родовое имение Пушкин приехал, закончив путешествие по местам пугачевского бунта, собрав бесценные материалы и свидетельства очевидцев. Здесь, в Болдине, всего за месяц с небольшим, Александр Сергеевич заканчивает работу над историческим исследованием о восстании под предводительством Пугачева, сочиняет стихотворения «Осень», «Сват Иван, как

пить мы станем...», «Воевода», «Будрыс и его сыновья», драматическую поэму «Анджело», повесть «Пиковая дама», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Но самым дорогим подарком «болдинской осени» 1833 года Пушкин считал повесть в стихах «Медный всадник».

Она написана чрезвычайно быстро, в общей сложности за три дня. Как композитор, ищущий музыкальную тему, Пушкин пробует разные тональности повествования и, найдя наконец во «Вступлении» верную интонацию, уже не останавливается: обе части написаны залпом, почти без помарок и исправлений. Повесть словно надиктована — только успевай записывать! «31 октября, 5 часов 5 минут» — единственный раз так точно обозначает Пушкин время окончания работы над произведением.

Значит, в глубинах творческого сознания все уже сложилось и ждало момента выплеснуться в сюжет, уложиться в ровные строки рукописи.

Были, конечно, внешние импульсы к рождению «Медного всадника». Выезжая из Петербурга 17 августа, Пушкин с тревогой смотрит на разбушевавшуюся Неву, грозящую новым наводнением. Препрежне было девять лет назад, еще при Александре I. Может быть, пришел на память рассказ о молодом моряке, который, с трудом добравшись тогда домой, не нашел ни дома, ни семьи. Может быть, эти впечатления связались с услышанным рассказом о «вещем сне» некоего майора в 1812 году. В это грозное время император Александр I, опасаясь вторжения французов в Петербург, решил было увезти знаменитую статую Петра I — всадника на вздыбленном коне. Но ему передали сон майора, в котором Петр съехал со скалы, поскакал по городу, явился к царю и заявил: «Пока я на месте, моему городу нечего опасаться!» Александр I отменил распоряжение. Но есть и внутренние пружины создания «петербургской повести».

Прежде всего, это мотивы, темы, образы, ставшие идейными центрами, эстетическими основами, эмоциональными вехами художественного мира Пушкина 30-х годов: судьба, власть и человек; бунт стихии и народный бунт; безумство; поиск дороги — реальной и

жизненной; милосердие; честь, достоинство, «самостоянье» человека; дом...

«Медный всадник» был настолько дорог Пушкину, что, когда рукопись, отданная царю, вернулась с пометками высочайшей особы, поэт решил не изменять ни одного слова, тем самым отрезав путь к публикации. При жизни Пушкина повесть так и не была напечатана.

«Медный всадник» считается одним из самых «зашифрованных», нагруженных тайнами произведений Пушкина. Мы же, не мудрствуя, прочитаем «Медного всадника» так, как предложил нам сам Пушкин, — как повесть из петербургской жизни, как «происшествие», которое «основано на истине».

— Александр Сергеевич Пушкин —

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Петербургская повесть

Предисловие

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом.

Вступление

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно¹,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознеся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,

¹ Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe». (*Примечание А. С. Пушкина.*)

«Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу» (*франц.*).

Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса¹.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,

¹ Смотри стихи кн. Вяземского к графине З***. (*Примечание А. С. Пушкина.*) В стихотворении, посвященном Е. М. Завадской, есть строки:

Я Петербург люблю, с его красою стройной,
С блестящим поясом роскошных остров...

Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Часть первая

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой

Живет в Коломне¹; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.

Итак, домой пришед, Евгений
Страхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волнение разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливыцы,
Ума недалёного ленивыцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт:

«Жениться? Мне? зачем же нет:
Оно и тяжело, конечно;
Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу семейство наше

¹ *Колóмна* — окраина Петербурга, во времена Пушкина была бедной и малонаселенной.

И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редает мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает...¹
Ужасный день!

Нева всю ночь
Рвалась к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее берегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг

¹ Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта. (*Примечание А. С. Пушкина.*) В поэме о польском художнике Олешкевиче говорится, что, живя в Петербурге, он предсказал наводнение.

Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ

Зрит Божий гнев и казни ждет.
Увы! все гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

В тот грозный год

Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С Божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы¹
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

¹ Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф.
(Примечание А. С. Пушкина.)

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С поднятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижимый, страшно бледный,
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слышал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, Боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Часть вторая

Но вот, насытись разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смилившейся реке.
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку;
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн — и наконец
Достиг он берега.

Несчастный

Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Все перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..

Он остановился.
Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива. Были здесь ворота —
Снесло их, видно. Где же дом?
И, полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.

Ночная мгла
На город трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.

Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей

Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний все вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому

Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Раз он спал
У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было:
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали, во тьме ночной
Перекликался часовой...
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился — и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С поднятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вокруг него,

И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?¹

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —

¹ Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич. (*Примечание А. С. Пушкина.*)

Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

И с той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не возросло
Там ни былинки. Наводнение
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.



Вопросы и задания

Теперь самое время перейти к перечитыванию «Медного всадника». На самом деле перечитывание и есть настоящее чтение. Оно позволит вам дать свою интерпретацию повести Пушкина, высказать свои мысли. Такую возможность вам предоставит семинар. Но прежде мы советуем подумать о некоторых скрытых за сюжетом загадках пушкинского текста.

О чем говорится во «Вступлении»? В первой части? Во второй? Почему необходимо «Вступление», хотя оно не имеет прямого отношения к описанному происшествию? Когда возникает тема красоты в «Медном всаднике»? С чем она связана?

Звучит ли в «Медном всаднике» мотив дома, возвращения домой? Как он разрешается?

Вспомните картину, нарисованную в повести: Евгений, сидящий на мраморном льве, — «И, обращен к нему спиной, / В неколебимой вышине, / Над возмущенною Невою / Стоит с простертою рукою / Кумир на бронзовом коне» (выделено нами. — *Авт.*). Вряд ли эта сцена поддается однозначному толкованию. И все же: какие чувства, мысли она рождает в душе читателя?

Есть ли тема судьбы в повести? Если есть, как она решена?

Иногда, и даже очень часто, «Медного всадника» называют поэмой (видимо, из-за стихотворной формы). А Пушкин дал совершенно четкое жанровое определение: «Петербургская повесть» и поместил после заглавия. Почему все же повесть, а не поэма? А какая часть повести могла бы превратиться в поэму?



Семинар Два бунта

1. Вступление. Почему имя Петра не названо, а сказано «он»? Каков его замысел? Что видит он, стоя на берегу «пустынных волн», и чего не замечает? Каково отношение автора к построенному Петром городу?

2. Часть первая. Почему Евгений лишен фамилии? Как это объясняет автор? О чем мечтает Евгений?

3. Что явилось причиной наводнения? Что или кто?

4. Кто и что сталкивается в повести Пушкина? Каков смысл образов Петербурга, Невы, статуи Петра, Евгения, наводнения?

5. Зачем в повесть введен образ Александра I? Прочитайте относящийся к нему отрывок. Как он относится к бедствию? А как относится народ?

6. Наводнение — Божия стихия или беда, вызванная государственной деятельностью Петра?

7. **Часть вторая.** Прочитайте сравнение Невы с шайкой злодеев. Есть ли здесь связь со словами Пушкина в «Капитанской дочке»: «Не дай Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»?

8. В чем трагедия Евгения? В чем его беда, а в чем вина? Прав ли он, обвиняя в своем несчастье Медного Всадника? За что автор «награждает» Евгения безумием?

9. Сравните места последнего успокоения Самсона Вырина («Станционный смотритель») и Евгения. Что общего в этих описаниях? И что общего в судьбах героев?

10. Найдите и прочитайте фрагмент «Утро после наводнения». Что изменилось? Зачем Пушкин вводит это описание?

11. Какая точка зрения на повесть Пушкина вам ближе:

В «Медном всаднике» Пушкин утверждает право государства рисковать, распоряжаться жизнями людей ради своих интересов.

В «Медном всаднике» Пушкин утверждает, что никакими государственными интересами нельзя оправдать вмешательство в жизни и судьбы людей.

Своя правда есть у Петра, своя — у Евгения. Пушкин предоставляет самой жизни сделать выбор между этими двумя правдами.

Пушкин считает, что необходимо соединить эти правды, свести государство на уровень человека, а человека поднять до уровня истории. Но в «Медном всаднике» есть лишь намек на такую возможность.

И Петр, и Евгений — оба рабы и жертвы своих судеб. Судьба разъединяет и губит людей, а спасает только любовь и милосердие.



Творческий практикум

Сопоставьте начало вступления и финал второй части «Медного всадника». Что общего в этих описаниях? Какие ключевые слова из этих описаний могут стать темой для размышления?

Сопоставьте роман «Капитанская дочка» с повестью «Медный всадник». Выделите общие сюжетные мотивы, проблемы обоих произведений. Чем объяснить совершенно противоположные финалы: гибель героев в одном произведении и спасение — в другом?

Выбор задания за вами.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Так уж сложилось в России, что словесность в общественном сознании приобрела совершенно особую роль, несравнимую с той, которая была характерна для европейских литератур.

Русская литература стала одновременно и совестью, и голосом нации, ее прокурором, судьей и защитником, мерилom нравственности и порядочности. При этом наша литература сохранила высочайший уровень художественности, иначе говоря, осталась искусством в высшем значении этого слова.

Л. Н. Толстой в статье «Что такое искусство?» писал: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

Думаем, что вы согласитесь с Толстым, если вспомните те произведения М. Ю. Лермонтова, которые уже прочитали. Разве вас не охватывает гордость за русское богатейство, удадь и смелость, когда вы читаете и перечитываете «Бородино», «Песнь про купца Калашнико-

ва...»? А Мцыри... Разве этот образ может кого-нибудь оставить равнодушным?

Удивительная энергетика у стиха Лермонтова. Такое ощущение, что не стихотворение перед тобою, а сгусток человеческой боли, страсти, смятения или, наоборот, возвышенного блаженства.

Стихотворение «Смерть Поэта» было написано сразу же после смерти А. С. Пушкина. И даже не будучи опубликованным моментально, стало известно очень многим, включая императора Николая I. Общественный резонанс этого стихотворения был огромен. Реакция на него читающей публики — прямо противоположная: от восторгов до... специального следствия. Интересно, что вторая часть стихотворения сохранилась не в автографах, а в копии, приложенной к следственному «Делу о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским».

Следствие закончилось ссылкой поэта на Кавказ. А стихотворение навеки соединило два великих имени: Пушкина и Лермонтова.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыдания,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?

Что ж? веселитесь... — Он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет.
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок, — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!



Вопросы и задания

Обратите внимание, слово «Поэт» везде написано с большой буквы. Как вы думаете, почему? Зачем, по-вашему, Лермонтов разделил стихотворение на две части? Что это дает с точки зрения автора и читателя?
И последний вопрос. Одно время это стихотворение печаталось с эпиграфом:

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Как вы думаете, меняет ли такой эпиграф образ переживания лирического героя? Если меняет, то какие бы строки этого стихотворения вы вынесли в эпиграф?

Мы говорили с вами, что образ у Лермонтова — это чаще всего образ переживания лирическим героем какого-то чувства. Сравните два стихотворения и сформулируйте, какие чувства несет в себе ключевой образ каждого из этих произведений.

ПАРУС

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы! он счастья не ищет,
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

МОЛИТВА

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Надеемся, что с заданием вы справились и увидели и почувствовали удивительную эмоциональную емкость художественного образа у Лермонтова.



Творческий практикум

В 16 лет М. Ю. Лермонтов написал стихотворение «Sentenz» («Сентенция»¹):

Когда бы мог весь свет узнать,
Что жизнь с надеждами, мечтами —
Не что иное, как тетрадь
С давно известными стихами.

Вы согласны с юным поэтом или нет? Думаем, что ваши размышления (с помощью нашего учебника) на этот счет будут весьма любопытными.

— Николай Васильевич Гоголь —

«Я совершу свой путь в сем мире и ежели не так, как предназначено всякому человеку, по крайней мере буду стараться быть таковым», — писал Н. В. Гоголь матери по выходе из Нежинской гимназии высших наук в 1828 году. «Я совершу... Я совершу!.. Труды мои будут вдохновенны!» — пишет молодой начинающий литератор одному из своих корреспондентов в 1834 году. Что хотел совершить Гоголь? О чем мечтал? О деле жизни, о том поприще, где может сослужить «службу государственную», ибо и жизнь и дело свое он понимал как службу.

Долог и труден был поиск дела жизни. На каких только поприщах не пробовал себя будущий писатель! Приехав в Петербург, решил поступить в театр, ибо «театр — великая школа, глубоко его назначение. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь... Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Но отношения с театром тогда не сложились: в актерскую труппу молодой Гоголь принят не был. И началась служба: сначала чиновником в одном из петербургских

¹ *Сентенция* — изречение правоучительного порядка.

департаментов, потом — преподавателем истории женского Патриотического института. Писатель пробовал свои силы даже на кафедре Петербургского университета, но все это оказалось лишь подступом к главному делу жизни — творчеству, писательству: «Но как только почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем, чтобы... обсудить... как произвести свое творение, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей».

Однако любовь к театру не оставляла писателя: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет... Рука дрожит написать... комедию... Сделайте милость, дайте сюжет... будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее черта!» Эта фраза из письма Гоголя Пушкину заставила многих поверить в то, что великий поэт подарил своему не менее талантливому современнику сюжет «Ревизора».

Однако сюжет пьесы, да и не только сюжет, а сама житейская ситуация была повсеместно известна. К 1828 году была написана пьеса г. Квитки-Основьяненко «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе», но напечатана лишь в 1840 году. Постоянно в газетах мелькали сообщения о том, как какой-нибудь самозванец обманул городские власти и поживился за их счет. В общем — ситуация типично российская: в некий город, чтобы «найти недостатки и наказать виновных», приезжает ревизор. Цель приезда известна всем, и потому задача городских чиновников — «переиграть» ревизора, скрыть свои грехи. Ситуация типичная, правила игры известны всем заранее, поэтому первая же фраза городничего сразу начинается действие. «С какой силой, с какой простотой, с какой гениальной экономией происходит завязка пьесы! Вы знаете, что по теории драмы первое действие посвящается завязке, второе — развитию, третье доводит пьесу до кульминационного пункта, четвертое подготавливает развязку, которая заключается в пятом действии. Самые замечательные мастера театра не могли завязать пьесу иначе, как в нескольких первых сценах. В «Ревизоре» же — одна фраза, одна первая фраза...

И пьеса уже начата. Дана фабула и дан главнейший ее импульс — страх. Все, что могло бы соблазнить писателя для подготовки этого положения, или беспощадно отбрасывается, или найдет себе место в дальнейшем развитии фабулы. Как сценически крепко надо было овладеть замыслом комедии, чтобы так смело и в то же время так просто приступить к ней!» — писал известный режиссер Вл. И. Немирович-Данченко.

Этот восторженный отзыв был сделан почти 70 лет спустя после создания пьесы. А сначала даже самому Гоголю не понравилось, как играли актеры: если не так играли, значит, не так поняли. И вот автор берется за перо и пытается разъяснить свой замысел, показать те наиболее важные для него грани образов его героев, которые в постановке оказались не выявленными.

Думаем, что и нам с вами, перед тем как читать пьесу, стоит послушать Н. В. Гоголя.

Мы выделили наиболее значимые, на наш взгляд, мысли письма, а вы после прочтения пьесы постарайтесь ответить на очень сложный вопрос: в чем авторское осмысление пьесы отличалось от той интерпретации, которую режиссер и актеры представили на сцене?

**ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА,
ПИСАННОГО АВТОРОМ ВСКОРЕ
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
«РЕВИЗОРА» К ОДНОМУ ЛИТЕРАТОРУ**

...«Ревизор» сыгран — и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала; так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде... целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем, — бледное лицо, в продолжение двух столетий являющееся в одном и том же костюме. Неужели в самом деле не видно из

самой роли, что такое Хлестаков? Или мною овладела довременно слепая гордость и силы мои совладеть с этим характером были так слабы, что даже и тени, и намек в нем не осталось для актера? А мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не надует; он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит. Он развернулся, он в духе, видит, что все идет хорошо, его слушают — и по тому одному он говорит плавнее, развязнее, говорит от души, говорит совершенно откровенно и, говоря ложь, выказывает именно в ней себя таким, как есть. Вообще, у нас актеры совсем не умеют лгать. Они воображают, что лгать — значит просто нести болтовню. Лгать — значит говорить ложь тоном, так близким к истине, так естественно, так наивно, как можно только говорить одну истину; и здесь-то заключается именно все комическое лжи. ...Хлестаков лжет вовсе не холодно или фанфаронски-театрально; он лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни — почти род вдохновения. И хоть бы что-нибудь из этого было выражено! Никакого тоже характера, т. е. лица, т. е. видимой наружности, т. е. физиономии, решительно не дано было бедному Хлестакову. Конечно, несравненно легче карикатурить старых чиновников в поношенных вицмундирах с потертыми воротниками; но схватить те черты, которые довольно благовидны и не выходят острыми углами из обыкновенного светского круга, — дело мастера сильного. У Хлестакова ничего не должно быть означено резко. Он принадлежит к тому кругу, который, по-видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей. Он даже хорошо иногда держится, даже говорит иногда с весом, и только в случаях, где требуется или присутствие духа, или характер, выказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура. Черты роли какого-нибудь городничего более неподвижны и ясны. Его уже обозначает резко собственная, неизменяемая, черствая наружность и отчасти утверждает собою его характер. Черты роли Хлестакова

слишком подвижны, более тонки, и потому труднее уловимы. Что такое, если разобрать, в самом деле Хлестаков? Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. Выставить эти качества в людях, которые не лишены, между прочим, хороших достоинств, было бы грехом со стороны писателя, ибо он тем поднял бы их на всеобщий смех. Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли и в то же время осмотрится вокруг без боязни и страха, чтобы не указал кто-нибудь на него пальцем и не назвал бы его по имени. Словом, это лицо должно быть тип многого, разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадаетея и в натуре. *Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым*, но, натурально, в этом не хочет только признаться; он любит даже и посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни, — дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернется, и как будто бы и не он.

Итак, неужели в моем Хлестакове не видно ничего этого? Неужели он просто бледное лицо, а я, в порыве минутно-горделивого расположения, думал, что когда-нибудь актер обширного таланта возблагодарит меня за совокупление в одном лице толиких разнородных движений, дающих ему возможность вдруг показать все разнообразные стороны своего таланта? И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно.

С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, — и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против

моей же пьесы, которые заглушали все другие. А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, ее бранила (**А как вы думаете: каким образом и за что публика могла бранить автора? — Авт.**) по причинам, однако ж, не относящимся к искусству. Каким образом бранила, мы об этом поговорим при первом свидании с вами; тут есть много поучительного и немало смешного. Я даже кое-что записал; но это в сторону.

Вообще с публикою, кажется, совершенно примирил «Ревизора» городничий. В этом я был уверен и прежде, ибо для таланта, каков у Сосницкого, ничего не могло остаться необъясненным в этой роли. Я рад, по крайней мере, что доставил ему возможность выказать во всей ширине талант свой, об коем уже начинали отзывать равнодушно и ставили его на одну доску со многими актерами, которые награждаются так щедро рукоплесканиями во вседневных водевилях и прочих забавных пьесах. На слугу тоже надеялся, потому что заметил в актере большое внимание к словам и замечательность. Зато оба наши приятели, Бобчинский и Добчинский, вышли, сверх ожидания, дурны. Хотя я и думал, что они будут дурны, ибо, создавая этих двух маленьких чиновников, я воображал в их коже Щепкина и Рязанцева, но все-таки я думал, что их наружность и положение, в котором они находятся, их как-нибудь вынесет и не так обкарикатурит. Сделалось напротив: вышла именно карикатура. Уже пред началом представления, увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два человечка, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично-приглаженными волосами, очутились в каких-то нескладных, превысоких седых париках, всклокоченные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо...

Во время представления я заметил, что начало четвертого акта холодно; кажется, как будто течение пьесы, дотоле плавное, здесь прервалось или влечется лениво. Признаюсь, еще во время чтения свежий и опытный актер сделал мне замечание, что не

так ловко, что Хлестаков начинает первый просить денег взаймы и что было бы лучше, если бы чиновники сами ему предложили. Уважая замечание довольно тонкое, имеющее свои справедливые стороны, я, однако же, не видел причины, почему Хлестаков, будучи Хлестаковым, не мог попросить первый. Но замечание было сделано; «стало быть, — сказал я сам в себе, — я плохо выполнил эту сцену». И точно, теперь, во время представления, я увидел ясно, что начало четвертого акта бледно и носит признак какой-то усталости...

Еще слово о последней сцене. Она совершенно не вышла. Занавес закрывается в какую-то смутную минуту, и пьеса, кажется, как будто не кончена. Но я не виноват. *Меня не хотели слушать.* Я и теперь говорю, что последняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это просто немая картина, что все это должно представлять одну окаменевшую группу, что здесь оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что две-три минуты должен не опускаться занавес, что совершиться все это должно в тех же условиях, каких требуют так называемые *живые картины*... *Таланта не остановят указанные ему границы, как не остановят реку гранитные берега; напротив, вошедши в них, она быстрее и полнее движет свои волны.* И в данной ему позе чувствующий актер может выразить все. На лицо его здесь никто не положил оков, размещена только одна группировка; лицо его свободно выразить всякое движение. *И в этом онемении для него бездна разнообразия.* Испуг каждого из действующих лиц не похож один на другой, как не похожи их характеры и степень боязни и страха, вследствие великости наделанных каждым грехов. Иным образом остается поражен городничий, иным образом поражена жена и дочь его. Особенным образом испугается судья, особенным образом попечитель, почтмейстер и пр., и пр. Особенным образом останутся пораженными Бобчинский и Добчинский, и здесь не изменившие себе и обратившиеся друг к другу с онемевшим на губах вопросом. Одни только гости могут остолбенеть одинаким образом, но они даль в картине, которая очерчивается одним взма-

хом кисти и покрывается одним колоритом. Словом, каждый мимически продолжит свою роль, и, несмотря на то что, по-видимому, покори́л себя балетмейстеру, может всегда остаться высоким актером. Но у меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я устал и душою и телом. *Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий...*

РЕВИЗОР

После замечаний и советов Н. В. Гоголя вы, надеемся, лучше подготовились к встрече с великим произведением, которое не сходит со сцены уже более 150 лет и выдержало огромное количество изданий. Мы не помещаем его в учебной хрестоматии, потому что найти в библиотеках «Ревизора» не составит большого труда.

А когда прочитаете и будете думать над пьесой, обратитесь к нашим вопросам. Уверены, они помогут сделать вашу интерпретацию произведения более глубокой и интересной.



Вопросы и задания

Какую реакцию вызывает первая фраза городничего у всех чиновников? Почему? Какие причины есть у каждого из чиновников, чтобы испугаться приезда ревизора? Почему известие о приезде ревизора взволновало не только городские власти, но и помещиков Добчинского и Бобчинского? Как отреагировали на приезд «столичной штучки» жена и дочь городничего?

Каким рисует Н. В. Гоголь уездный город? Что самое страшное в нем? Для ответа на этот вопрос используйте текст комедии.

Какие меры предпринимают чиновники перед приездом ревизора? Каковы их результаты?

Почему чиновники уверены, что столичный чиновник будет брать взятки?

«В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое только знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем», — писал Н. В. Гоголь. **Прокомментируйте слова писателя, опираясь на текст комедии.**

Найдите в тексте комедии те сцены, которые можно считать кульминацией (т. е. высшей точкой развития действия) и развязкой. Свой ответ объясните.



ГОРОДНИЧИЙ, ХЛЕСТАКОВ И «ЧЕСТНОЕ ЛИЦО» ПЬЕСЫ

Давайте подумаем, есть ли в комедии «Ревизор» экспозиция, т. е. начальные сцены действия, предшествующие завязке и знакомящие нас с действующими лицами, с обстановкой, это своеобразное введение в действие.

В. Г. Белинский так восстановил историю жизни городничего: «Он в детстве был учен на медные деньги, играл в бабки, бегал по улицам, и как стал *входить в разум*, то получил от отца уроки в житейской мудрости, т. е. в искусстве *нагревать руки и хоронить концы в воду*. Лишенный в юности всякого религиозного, нравственного и общественного образования, он получил в наследство от отца и от окружающего его мира следующее правило веры и жизни: в жизни надо быть счастливым, а для этого нужны деньги и чины, а для приобретения их взяточничество, казнокрадство, низкопоклонство и подличанье перед властями, знатностью и богатством, ломанье и скотская грубость. Маловероятно, конечно, чтобы ревизор захотел действительно наказать порок и восстановить справедливость. Сквозник-Дмухановский это хорошо знал, что, однако, не улучшало его положения. Ведь прибывший мог расправиться с ним за

другое — за то, например, что городничий не сумел достаточно ловко скрыть свои прегрешения, соблюсти приличную форму. Или за то, что он недостаточно почтительно его встретил. Или просто за то, что он, городничий, ему не понравился. Мало ли чего можно было ожидать от «такой уполномоченной особы»!»

Согласны ли вы с мнением критика? Какие детали, рассыпанные в тексте комедии, позволили ему так написать об этом герое?

Опираясь на текст комедии, попытайтесь восстановить историю жизни Хлестакова до приезда в город.

Вы уже знакомы с высказыванием Белинского о городничем, а вот что пишет критик о Хлестакове: «Здесь характер Хлестакова — этого *второго* лица комедии — разворачивается вполне, раскрывается до последней видимости своей микроскопической пошлости. К сожалению, это лицо понято меньше прочих лиц... Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом, и притом не самим собою, а *ревизором*. Но кто его сделал ревизором? *страх городничего*, следовательно, он создание испуганного воображения городничего, призрак, тень его совести. Поэтому он является во втором действии и исчезает в четвертом, — и никому нет нужды знать, куда он поехал и что с ним стало: интерес зрителя сосредоточен на тех, которых страх создал этот фантом, а комедия была бы не кончена, если бы окончилась четвертым актом. Герой комедии — городничий как представитель этого мира призраков».

А вот другая точка зрения: «Главное лицо драматического творения есть центр пьесы. Около него обращаются все прочие лица, как планеты вокруг Солнца». Автор этого высказывания главным героем считает Хлестакова. Кто же из критиков прав?

Вы уже хорошо знакомы с характерами городничего и Хлестакова, знаете мотивы, которые двигают поступками каждого из них, можете дать характеристику любому герою. Тогда возникает вопрос: почему человек «без царя в голове» обманул городничего? Сравните свой

ответ с точкой зрения современного исследователя Ю. В. Манна: «Хлестаков потому обманул городничего, что... не собирался его обманывать. Потому вел себя хитрее, что был простодушнее. Потому взял верх над многоопытным и в своем роде неглупым городничим, что был несравненно глупее, мельче.

При поверхностном наблюдении кажется, что в комедии городничий и его компания состязаются с Хлестаковым — в хитрости, коварстве, ловкости. Состязаются по всем правилам: кто кого возьмет, кто кого одурачит. А на самом-то деле никакого состязания нет, так как одна из сторон — Хлестаков — просто уклоняется от борьбы, не понимая ни целей, ни намерений своих противников. Но тем самым Хлестаков предоставляет им полную возможность сражаться с призраком, который они в своем воображении построили. И не только сражаться, но даже потерпеть от него поражение».

«Хлестаков, как мыльный пузырь, надувается под влиянием благоприятных обстоятельств, растет в собственных глазах и в глазах чиновников, становится все смелее и смелее в хвастовстве... Но придайте Хлестакову хоть немного расчета в хвастовстве, — и он перестает уж быть Хлестаковым... Ему все нипочем, все трын-трава...» — писал современник Н. В. Гоголя критик Ап. Григорьев.

Сравните это высказывание с авторской характеристикой Хлестакова, данной в «Замечаниях для господ актеров», и ответьте на вопрос: в чем необычность образа этого героя? Оправдал или обманул Хлестаков зрительское и читательское ожидания?

В письме Гоголь заметил, что каждый из героев хоть на минуту, а делается Хлестаковым. Что имел в виду писатель? Можно ли говорить, что образ Хлестакова обозначил целое явление — хлестаковщину? А может, это черта человеческого характера? Н. Г. Чернышевский, например, говорил, что очень «мало людей, в которых нет хлестаковщины».

Мы с вами не первый раз встречаемся с комедией и знаем, что в комедии еще с XVIII века обязательно деление на положительных и отрицательных. Есть ли среди персонажей «Ревизора» положительный герой?

«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — *смех*. Он был благороден, потому что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете... Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей, — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, — излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проникающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека». Эти слова взяты из пьесы Н. В. Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии», написанной специально для объяснения авторского замысла «Ревизора». Если вы хотите уяснить, почему в последнем монологе городничий так ополчается на «шелкоперов», глубже понять позицию драматурга, постичь те задачи, которые он ставил перед собой, очень советуем вам обратиться к этому произведению.

В заключение обратим внимание на эпиграф. Подумайте, зачем в драматическом произведении нужен эпиграф. К кому он обращен?

Надо сказать, что эпиграф появился в последней редакции «Ревизора», и появился не случайно. Премьера спектакля состоялась 19 апреля 1836 года в Петербурге, на ней присутствовал император Николай I, который много смеялся и даже аплодировал, а потом заметил: «Всем досталось, а мне больше всех!», в общем-то точно оценив сатирическую направленность комедии. Это поняли многие современники Н. В. Гоголя, но сам драматург остался недоволен зрительской реакцией на комедию. Писатель посчитал, что многие увидели в пьесе только сатиру на существующий порядок вещей, а он желал сказать своей комедией нечто большее. **Что именно? Перечитайте еще раз письмо Н. В. Гоголя.**



СНОВА О МОТИВАХ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СЮЖЕТНЫХ ЛИНИЙ И ОБРАЗОВ

Размышляя над текстом комедии, вы, по существу, повторили путь, по которому прошли ее первые зрители, а знакомясь с их откликами, наверное, заметили, что комедия Гоголя была очень неоднозначно воспринята современниками: слишком нов и необычен оказался ее главный герой, странно развивалась интрига¹. Русский зритель привык к водевильным² мошенникам. Однако подобные персонажи встречались не только в водевиле, но и в так называемой высокой комедии, уходящей своими традициями в глубокое прошлое европейских литератур. Это был излюбленный тип в комедиях Мольера, которого высоко ценил Гоголь.

Так, в комедии французского драматурга «Лекарь поневоле» Сганарель волею обстоятельств прослыл искусным врачом. Положение обязывает, и ничего не смыслящий в медицине Сганарель принимается лечить дочь Жеронта Люсинду. Он произносит бессмысленные фразы, пытаясь создать впечатление, что говорит по латыни, ставит совершенно фантастический диагноз и договаривается до того, что согласно новым медицинским представлениям сердце расположено справа, а печень слева. Результат достигнут: Жеронт одурачен — «Вот это я понимаю ученый!» При этом сам Сганарель, в отличие от Хлестакова, меньше всего верит в то, что говорит: он сознательно нагромождает горы лжи.

¹ *Интрига* — в драматическом произведении: система действий персонажа, использующего разные хитрости и уловки для достижения какой-либо конкретной цели.

² *Водевиль* — веселый спектакль с пением и танцами.

В другой комедии Мольера «Смешные жеманницы» слуга Лагранжа Маскариль дурачит двух городских женщин. Ему удается войти в доверие к дочери Горжибюса Мадлон и его племянницы Като, выдав себя за маркиза. В частности, новоявленный маркиз сообщает своим собеседникам, что собирается основать «академию острословия» и сам упражняется в этом роде: «Вы можете услышать, с каким успехом исполняются в лучших парижских альковах двести песенок, столько же сонетов, четыреста эпиграмм и свыше тысячи мадригалов моего сочинения».

Типичным героем-интриганом выступает известный Тартюф из одноименной комедии Мольера. Он сознательно разыгрывает из себя святошу, втирается в доверие к главе дома Оргону, хитростью выведывает у него секретные сведения, с помощью которых потом шантажирует героев, искусно ссорит все семейство...

Рассуждая о преемственности сюжетных линий и образов, мы предлагаем вам обратиться к драматургии А. Н. Островского. О ком же его пьесы? О купцах и дворянах, об актерах и, конечно же, о чиновниках. Если вам интересно, что происходит в столичных департаментах, каково живет там честному человеку, прочитайте комедию «Доходное место». Кто таков Жадов, ее главный герой: истинный герой добра? комическое лицо? слабый человек? Над этими и другими вопросами заставляет размышлять пьеса Островского.



ЕДИНИЧНОЕ, ОСОБЕННОЕ, ВСЕОБЩЕЕ

Мы уже говорили, что художественный образ — это послание автора своему читателю. Говорили и о том, что великий образ рождается под пером великого писателя. А сейчас давайте попытаемся представить себе те грани, которые, во-первых, делают образ художествен-

ным, а во-вторых, интересным нам, читателям, людям разных эпох, взглядов, представлений. Сразу отметим, что однозначного ответа здесь нет и, видимо, в обозримом будущем не будет. Но некоторые закономерности все же просматриваются.

Вспомните любого или любимого литературного героя. Согласитесь, что этот герой, представленный автором, воспринимается вами как живой человек с присущими только ему индивидуальными особенностями: от интонации до формы носа, например. Так вот, эта индивидуальность и становится очень важной гранью художественного образа, показывая его **единичность**. Перечитайте «Характеры и костюмы. Замечания для господ актеров», которые даны перед «Ревизором», и убедитесь в этом сами.

Вторая, не менее важная грань образа — **грань особенного**. Герой действует в определенных условиях, связан с определенным кругом других героев (семья, общественный статус и т. д.). Чтобы лучше понять эту грань, давайте снова обратимся к Гоголю, в «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора», он пишет: «Хлестаков сам по себе ничтожный человек. Даже пустые люди называют его пустейшим. Никогда бы ему в жизни не случилось сделать дела, способного обратить чье-нибудь внимание. Но сила всеобщего страха создала из него замечательное комическое лицо. Страх, отуманивши глаза всех, дал ему поприще для комической роли. Обрываемый и обрезаемый доселе во всем, даже и в замашке пройтись козырем по Невскому проспекту, он почувствовал простор и вдруг развернулся неожиданно для самого себя». Посмотрите, обстоятельства, время, окружение влияют на действия героя и его восприятие читателями.

Третья грань — **грань всеобщего**. Это как раз та грань образа, которая поднимает его до общечеловеческого значения, т. е. проявляются такие черты характера или особенности человека, которые присущи людям вообще, вне зависимости от эпохи, социального статуса, индивидуальных особенностей личности.

«Умный актер, прежде чем схватить мелкие причуды и мелкие особенности внешние доставшегося ему лица,

должен стараться поймать общечеловеческое выражение роли...» — писал Н. В. Гоголь.

Итак, три грани: единичное, особенное, всеобщее.

Сейчас мы перейдем к другому произведению Н. В. Гоголя, о котором было сказано, что вся русская литература вышла из него, что это произведение намного сложнее «Ревизора». После того как вы его прочтете, проверьте, можно ли выявить в образе главного героя те грани, о которых мы сейчас говорили.



«ГОРОД ПЫШНЫЙ, ГОРОД БЕДНЫЙ...»

Родной Украине посвящены первые сборники Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». И вот писатель создает новый цикл повестей, на этот раз о Петербурге. Надо сказать, что в литературе уже сложилась определенная традиция изображения северной столицы:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, строгий вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит.

Именно такой миражный, обманный, фантасмагорический образ города воплотился на страницах произведений Гоголя. Впервые образ столицы появляется в «Ночи перед Рождеством». Пролетая на чёрте над городом, кузнец Вакула видит прямо-таки ужасающую картину: «...стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел над тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами,

унизированными площадками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш». Совсем иначе показана столица в цикле «петербургских повестей».

Вспомните, каким изображен Петербург в повести «Портрет».

Вспомните начало «Невского проспекта». Какой художественный прием использует писатель, описывая главную улицу столицы? Как этот прием помогает нам понять авторскую позицию?

Кто из писателей, предшественников и современников Гоголя, обращался к теме Петербурга? Какой образ города возникает на страницах этих произведений?

— Николай Васильевич Гоголь —

ШИНЕЛЬ

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника¹, не помню, какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, в *одном департаменте* служил *один чиновник*; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обе-

¹ *Капитан-исправник* — начальник полиции в уезде, избиравшийся дворянами из своей среды.

им сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называется вечный титулярный советник¹, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раз три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как: родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха: — какие все имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще перевернули страницу — вышли: Павсикахий и Вахти-

¹ *Титулярный советник* — гражданский чин, соответствующий девятому классу в «Табели о рангах» (военные и гражданские чины подразделялись на четырнадцать классов).

сий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили; причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник.

Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма; так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: «Перепишите», или: «Вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невы-

носима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным.

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники¹, но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один ди-

¹ *Статский советник* — гражданский чин, соответствующий пятому классу в «Табели о рангах».

ректор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжеватого-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сена кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, попевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того penetrability своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с лу-

ком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и ото-бедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет, просто, к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента¹, — словом, да-

¹ *Фальконетов монумент* — памятник Петру I в Санкт-Петербурге, созданный французским скульптором Этьеном Морисом Фальконе в 1768—1778 годах.

же тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колющие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпанка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась.

Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее от-

нимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда.

Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испутивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведущей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович,

и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самих тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, вёрварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его: «осадили сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, сударь, — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того...

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частию предложениями, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того...», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что ж такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы.

Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одним немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного...

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою за окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно — неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табак, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табак, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах ёкнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка. — Ведь только всего что

на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, поддержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуй ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет, — сказал Петрович решительно: — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло перед ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне. — Ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...

— То есть, что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы.

Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

— Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич; вскрикнул, может быть, в первый раз от роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, — как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить, — сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович, по уходе его, долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне.

— Этакое-то дело этакое, — говорил он сам себе: — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... — а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! Наконец вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак. — За сим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: — Так этак-то! Вот какое уж, точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!

Сказавши это, он, вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табак, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и повернуть домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с ко-

торым можно поговорить о деле самом сердечном и близком.

— Ну нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того...

Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул.

— Нельзя, — сказал: — извольте заказать новую.

Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек.

— Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, — сказал Петрович. — А уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим.

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович недослышал и сказал:

— Уж я новую вам сошью бесприменно, в этом извольте положиться, старание приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под апплике¹.

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за поставку новых головок к старым голенищам, да следовало

¹ *Аппликé* — накладное серебро.

заказать швее три рубахи, да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, — словом: все деньги совершенно должны были разойтись, и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты, с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном

только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самым временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыкло и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник. Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумаги, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул: «ух!» и перекрестился. В продолжение каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей: уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось, точно, около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма спокойное, начало биться. В первый же день он отправил-

ся вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и немудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито по шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытисняя ими разные фигуры.

Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлось так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки; он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плечи Акакия Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич,

как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не заметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту побежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь покрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столона-

чальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знает даже с низшими себя, сказал:

— Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник.

Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравнения, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал¹ на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плечи шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно по крайней мере то, что чиновник жил в лучшей части города, — стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться

¹ *Сибаритствовать* — вести праздный образ жизни.

и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки¹ с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, — напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой² под губой. Акакий Акакиевич покачул головой и усмехнулся и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! Что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж, точно, того...» А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать все, что он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сли-

¹ *Ванька* — зимний легковой извозчик на крестьянской лошаденке и с плохой упряжкой.

² *Эспаньолка* — короткая остроконечная борода.

вочниками и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чая. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плечи и опустился по лестнице на улицу.

На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю

дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подвигаясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные дома, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видимыми на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забило в груди.

— А ведь шинель-то моя! — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник.

Акакий Акакиевич хотел было уже крикнуть «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал

навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не устая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая узнать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить, а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого.

Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызывать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком неподходящем доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни).

На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако ж многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю, — итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в поли-

ции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо*, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к *значительному лицу*.

Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров¹ с красными воротниками, в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому гово-

¹ Капельдинер — служащий, следящий за порядком.

рил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе: завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшим отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив; но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный

человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он обратился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамильярным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то

же время, что он вспотел ужасным образом, — я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари, того... ненадежный народ...

— Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и вышших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже, с своей стороны, сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по выюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье!

На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благотворительной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток неперенный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал:

— А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог.

Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого неизвестно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!», то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не печатавали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно:

пучок гусиных перьев, десть¹ белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, Бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивалось на царей и повелителей мира... Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос: «Почему?» — выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и представлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь? Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели

¹ Десть — двадцать четыре листа.

ли сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно, будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!», и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили *одно значительное лицо*, который, по-настоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем,

совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как и нельзя ли, в самом деле, чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком, приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «Bonjour, papa»¹. Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дур-

¹ «Добрый день, папа» (франц.).

ная, давала ему прежде целовать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне», а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому немудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг Бог знает откуда и нивесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлбуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом, поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи:

— А! так вот ты наконец! Наконец я тебя того, поймал за воротник! Твоей-то шинели мне и нужно! Не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!

Бедное *значительное* лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!», но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом:

— Пошел во весь дух домой!

Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут в шесть с небольшим *значительное* лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смее-те, понимаете ли, кто перед вами»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись

из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он требовал за такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилён, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.



Вопросы и задания

Где бы ни происходили события, Гоголя всегда волнует нечто более важное: а что человек? как живет человек? И в новых, «петербургских», повестях он задает тот же вопрос: как живет человек в этом городе, олицетворяющем государство?

«Лучшее, что вы написали» — так оценил «Шинель» В. Г. Белинский. «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя», — сказал Ф. М. Достоевский. Правда, в последнее время эти слова приписывают И. С. Тургеневу. Но вопрос об авторстве не так уж и важен, потому что «мы» — русская литература. Итак. Почему же русская литература «вышла из «Шинели», маленькой повести Н. В. Гоголя?

На первый взгляд все ясно: это повесть о «маленьком человеке», человеке не просто униженном — убитом. Почти мимоходом сняли шинель, самое дорогое, что было, и никто не помог... Мы сказали «маленький человек» и вспомнили, что сама традиция идет от «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина. Гоголь продолжил эту тему? Легко ответить: да. Но давайте поставим их рядом — Вырина и Башмачкина. Что за душой каждого из них? У Вырина — Дуня, любовь к ней и жене-покойнице,

честь, внутреннее достоинство. А что за душой у Башмачкина?

Дайте характеристику Акакия Акакиевича, обратите внимание на его имя, портрет, манеру поведения, внутренний мир. Сделайте вывод о том, каким его изобразил писатель. Какое отношение у читателя вызывает этот персонаж?

Сопоставьте свою точку зрения с мнением известного актера и режиссера Алексея Баталова: «Гоголь заставляет нас полюбить героя, которого полюбить нельзя».

Но давайте подумаем, что самое страшное в повести. Сцена ограбления? Финал? А если поставить вопрос по-другому: почему повесть о человеке названа «Шинель»? Ответ напрашивается сам собой: потому что вещь заменила человека. Как, почему это произошло? И с одним ли Башмачкиным случилась эта трагедия? Возвратимся к портретам-лицам. Вспомним, что изображено на табакерке Петровича. Какой-то генерал с заклеенным бумажкой лицом. Может быть, это совпадение? Но попробуйте найти портрет «значительного лица», персонажа отнюдь не второстепенного. Не найдете. У «значительного лица» нет лица.

Мундир заменил личность, чин заменил человека. Докажите или опровергните эту точку зрения, опираясь на текст повести.

Три возможные жизненные дороги для человека наметил Н. В. Гоголь в своей повести: стать личностью (этот путь обозначен как призрачная возможность: вспомним потрясение молодого человека от жалобного голоса Акакия Акакиевича), стать значительным (приведите примеры) и стать... никем, легко заменимым колесиком и винтиком государственного механизма, как Башмачкин.

Подумайте, кого в повести поразила болезнь — стремление стать значительным.

Что такое шинель для Акакия Акакиевича? Жизненная необходимость. Но, видимо, так уж общая атмосфера повлияла, что шинель стала для него чем-то большим, чем деталь одежды. Ведь нет чтобы поскромнее, чтобы

по Сеньке и шапка. Он заказывает шинель, чтобы и сукно наилучшее, а воротник из такой кошки, что издали похожа на куницу. И вот шинель на плечах нашего героя. Раз в жизни Башмачкин ощутил свою значительность. Нет, не благодаря своим достоинствам, а благодаря шинели. Для других стремление к такой «значительности» было естественным, для него — нет. И расплата не заставляет себя ждать. Жизнь все расставляет на места с катастрофической скоростью: вечер в той части города, которая считается «лучшей» (она, кстати, как и Невский проспект в одноименной повести, описана через внешние проявления — одежду), приемная значительного лица (опять форма победила содержание: ведь разговор мог сложиться иначе, не будь в приемной третьего лица — зрителя, свидетеля, перед которым, как перед зеркалом, надо сыграть роль важного начальника), болезнь и смерть. И последнее одеяние Башмачкина соответствует его положению на государственной лестнице: врач советует хозяйке брать не дубовый, а сосновый гроб — дешевле. Холодный Петербург встретил и проводил Башмачкина по одежке.

Все встало с ног на голову: форма и содержание, внешнее и внутреннее поменялись местами. Ценность человека определяется по формальным признакам, по внешним данным — одежде, чину, дому... Но иначе быть и не может: такова суть государственного устройства. И Гоголь взывает: нет ничего ценнее человека! Мы скорбим не только о Башмачкине, о его личной смерти. Не только о несостоявшейся личности. Мы скорбим о гибели самого звания человека, когда людей делят на «маленьких» и «значительных».

Вы согласны с таким выводом?

Спорят о финале повести: «настоящая» фантастика или слухи? Так или иначе уродливость человеческих отношений, прикрытая днем мундиром и видимостью законности, ночью предстает в безобразном, страшном виде. Оскорбленная человечность мстит за себя.

А как вы понимаете гоголевский финал?



Творческий практикум

В восьмом классе мы говорили с вами о Макаре Девушкине, герое «Бедных людей» Ф. М. Достоевского, том самом Макаре Девушкине, который, читая «Станционного смотрителя», горевал о Самсоне Вырине. Однако он читал не только Пушкина. Его возлюбленная Варенька прислала ему гоголевскую «Шинель», но повесть не понравилась нашему герою: «И для чего же такое писать? И для чего это нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, — прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать — куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь. Потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем том он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в Бога и умер (если ему хочется, чтобы он уже непременно умер) — оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут у него особенно, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта...»

Как вы ответите на те вопросы, которые задает герой Достоевского в начале письма? Как вы думаете, возможно ли было такое развитие событий? Свой ответ сопоставьте с высказыванием В. Г. Белинского: «У Гоголя Тарас Бульба так же исполнен комизма, как и трагического величия; оба эти противоположные элементы слились в нем неразрывно и целостно в единую, замкнутую в себе, личность; вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и смеетесь над ним. Из всех известных произведений европейских литератур пример подобного, и то не вполне, слияния серьезного и смешного, трагического и комического, ничтожности и пошлости жизни во всем, что есть в ней великого и прекрасного, представляет только «Дон Кихот» Сервантеса. Если в «Тарасе Бульбе» Гоголь умел в трагическом открыть комическое, то в «Старосветских помещиках» и «Шинели» он умел уже не в комизме, а в положительной пошлости жизни найти трагическое. Вот где, нам кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это — не один дар выставять ярко пошлость жизни, а еще более — дар выставять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности».

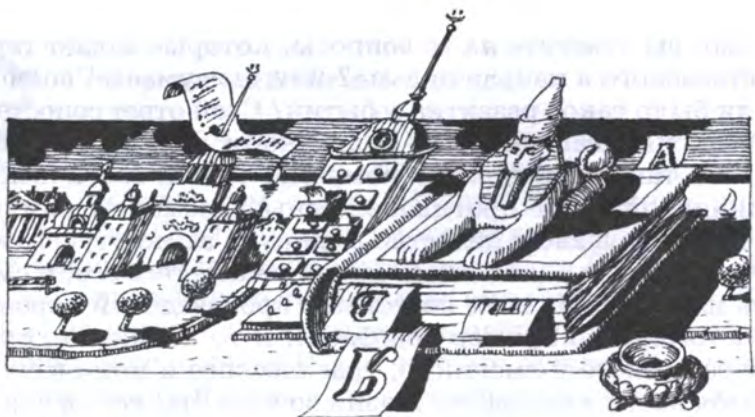
Как вы думаете, почему Белинский сопоставляет прозу Гоголя с «Дон Кихотом» Сервантеса?

В чем, по вашему мнению, традиции и новаторство Гоголя в создании образа «маленького человека»?

А теперь письменные задания

Составьте толковый словарь крылатых слов и выражений комедии «Ревизор», например: «Столичная штучка — ироническое обозначение чьей-либо претенциозности, чрезмерных притязаний на что-либо».

Напишите эссе на тему: «Общечеловеческое выражение роли (по произведениям Н. В. Гоголя)». Образ или «роль» выберите сами.



КРАТКИЙ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПИСАТЕЛЕЙ¹

Астафьев Виктор Петрович (род. в 1924), русский писатель. Родился в крестьянской семье в деревне Овсянка под Красноярском и уже в раннем детстве испытал участь семей «спецпереселенцев», попав в Игарку, за Полярный круг. Один из эпизодов своей биографии этого периода Астафьев воссоздал в повести «Кража» (1966). В 1941—1944 гг. будущий писатель принимал участие в Великой Отечественной войне, некоторые события которой легли в основу последнего романа «Прокляты и убиты» (1993—1994). Самую большую популярность Астафьеву принес его роман о Сибири и ее людях — «Царь-рыба» (1976).

Ахматова Анна Андреевна (1889—1966) (настоящая фамилия Горенко), русский поэт. Родилась А. Ахматова в семье отставного инженера-механика флота. Ее детские годы прошли в Царском Селе, где в 1903 г. она познакомилась с Николаем Гумилевым (1886—1921), своим будущим мужем и известным русским поэтом. Хотя стихи она начала писать рано, чуть ли не в одиннадцать лет, ее настоящий поэтический

¹ При составлении словаря использованы издания: *Литературный энциклопедический словарь*. — М., 1987; *Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь*. — Т. 1—4. — М., 1989—1999; *Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь*. — В 2 ч. — М., 2003; *Словарь школьника: Литература*. — М., 1999.

дебют состоялся в 1910 г. С 1911 г. она начала активно печататься, принимала участие в литературной жизни Петербурга. Вместе с поэтами Н. Гумилевым, С. Городецким и О. Мандельштамом, поэтом и переводчиком М. Лозинским стояла у истоков знаменитого «Цеха поэтов». Ее первые поэтические сборники «Вечер», «Четки», позже «Белая стая» стали своеобразными «книгами женской души». Первая мировая война и революция не только круто изменили ее жизнь, но и способствовали появлению новых интонаций в стихах. И хотя в 1918—1923 гг. поэзия Ахматовой пользовалась особенно большим успехом, книги многократно переиздавались, с середины 20-х гг. она была практически отлучена от своих читателей. Тяжелые обстоятельства личной жизни (расстрел Н. Гумилева, аресты второго мужа, сына, многочисленных друзей, война, которую Ахматова провела в эвакуации в Ташкенте, партийное постановление 1946 г., бытовая неустроенность и тяжелые болезни), конечно, влияли на творчество Ахматовой, но никогда не прерывали его. Начиная с середины 30-х гг. ее творчество развивалось наиболее интенсивно. Тогда же она, по своему собственному выражению, начала вести «бедуинский образ жизни», подолгу живя то в Ленинграде, то в Москве. Не имея возможности публиковать свои поэтические произведения, Ахматова делала переводы, а ее статьи о Пушкине снискали ей славу очень интересного исследователя. Пик ее популярности приходится на начало 60-х гг.: тогда ей была присуждена в Италии международная литературная премия, вручена мантия почетного доктора Оксфордского университета. Однако не это обессмертило имя поэта. Многочисленные стихотворения, «Поэма без героя», «Реквием» (не опубликованные в России при ее жизни) ставят ее имя в ряд великих поэтов XX в.

Бах Ричард (род. в 1936), американский писатель, потомок Иоганна Себастьяна Баха. В чем-то его биография напоминает биографию А. де Сент-Экзюпери. Ричард Бах — профессиональный пилот, он знает и умеет все, что касается вождения самолета: может выполнить фигуры высшего пилотажа и любой трюк на самолете для кино (так, кстати говоря, и было, когда по его книге «Ничего, кроме случая» снимался фильм). Пилот тактического истребителя военно-воздушных сил армии США, автор технических книг по авиации и летный инструктор. Однако с детства он мечтал писать, его школьный учитель литературы всегда уверял своего ученика, что так оно и будет, и это предсказание сбылось. В настоящее время Бах — один из самых известных и издаваемых писателей не только в США, но и в мире. Особой популярностью пользуется его повесть «Чайка по имени Джонатан Ливинг-

стон» (1970), созданная им всего через несколько лет после писательского дебюта в 1963 г.

Белов Василий Иванович (род. в 1932), русский писатель. Родился и вырос на Вологодчине, в 1964 г. окончил Литературный институт. Белов ввел в литературу нового героя — человека от земли, настоящего крестьянина. Его первая повесть «Привычное дело» (1966) и сборник «Плотницкие рассказы» (1968) сразу нашли широкий читательский отклик. Событием литературной жизни стал его большой роман о коллективизации «Кануны» (1972—1987).

Блок Александр Александрович (1880—1921), русский поэт. Родился в Петербурге, детство провел в семье деда, ректора Петербургского университета А. Н. Бекетова. Как поэт он сформировался под влиянием традиций русской классической литературы, свято почитавшихся в семье Бекетовых. Его интерес к творчеству философа-мистика Вл. Соловьева, с которым он был знаком лично, определил направленность первого цикла «Стихов о Прекрасной Даме», хотя в основе большинства стихотворений лежит подлинное чувство к невесте, позже — жене поэта Любови Дмитриевне Менделеевой. Выход первого сборника в свет ввел поэта в круг символистов, а его вторая книга «Нечаянная Радость» (1907) сделала имя популярным в читательских кругах. Творческая жизнь поэта была очень интенсивной: к началу Первой мировой войны он — автор нескольких стихотворных циклов (позже объединенных самим поэтом в три тома лирических произведений), пьес и статей о литературе. Особое место в творчестве занимают стихотворения о России и поэма «Возмездие» (1910—1921), на страницах которой воплощены размышления Блока над проблемой единения интеллигенции и народа. Готовность поэта к «неслыханным переменам, невиданным мятежам» определили позицию Блока в событиях Октября, которые нашли свое воплощение в поэме «Двенадцать» (1918). Последние годы отмечены изнурительной «непоэтической» работой в многочисленных культурных учреждениях и тяжелой болезнью, но не она убила поэта, «его убило отсутствие воздуха», с ним умирала его культура, культура «серебряного века».

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940), русский писатель. Родился в Киеве, в семье профессора духовной академии. После окончания медицинского факультета был призван в армию, затем служил земским врачом в с. Никольское на Смоленщине. Впечатления этих лет нашли отражение в «Записках юного врача» (1925—1926). 1918—1919 гг. провел в Киеве вместе с семьей, черты которой легко угадываются в героях его романа «Белая гвардия» (1925—1927). Как врач был мобилизован в армию Деникина, вместе с ней отсту-

пал из России, но вынужденное бегство было прервано тифом. В 1923 г. оказался в Москве, в 1924 г. начал печататься. Большинство своих произведений опубликованными так и не увидел: после многочисленных критических откликов было прервано печатание «Белой гвардии», пьесы снимались с репертуара, ни одна новая вещь не доходила до читателя. Исключение составила только пьеса «Дни Турбиных» (1926), сценический вариант романа «Белая гвардия», которая в течение многих лет не сходила с афиш МХАТа. Очень сложные отношения с властью сделали невозможными ни публикацию сатирической повести «Собачье сердце» (1925), ни романа «Мастер и Маргарита» (1929—1940).

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), русский писатель, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. Родился на Орловщине, принадлежал к старинному дворянскому роду. Дебютировал в 1887 г. как поэт, но одновременно стал публиковать рассказы, очерки, критические статьи. В 1903 г. Академия наук присудила Бунину Пушкинскую премию за поэму «Листопад» (1901) и перевод «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло (1896). Первостепенное место в литературной жизни России Бунин занял в 1910-е гг., когда вышли в свет повести «Деревня» (1910), «Суходол» (1911), рассказы «Господин из Сан-Франциско» (1915), «Легкое дыхание» (1916), «Сны Чанга» (1916). Октябрьскую революцию встретил откровенно враждебно: название его дневника «Окаянные дни» о событиях этого времени говорит само за себя. В 1920 г. Бунин эмигрировал и вскоре обосновался во Франции, где продолжал не менее интенсивно работать. К самым значительным произведениям этого периода можно отнести во многом автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» (1927—1933), за который и была присуждена Нобелевская премия, и цикл новелл о любви «Темные аллеи» (1943). Его философский трактат «Освобождение Толстого» (1917) и книга о Чехове, работа над которой была прервана смертью, открывают перед нами еще одну грань таланта писателя, поэта, оригинального мыслителя. К сожалению, путь произведений Бунина к читателю был сложным: в Советском Союзе они начали публиковаться только после смерти их автора, а в полном, неискаженном, виде доходят до читателя только сейчас.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), русский писатель. Родился на Украине, его детство прошло в с. Васильевка на Полтавщине. После окончания Нежинской гимназии Гоголь приезжает в Петербург, где дебютирует как поэт. Однако его поэма «Ганц Кюхельгартен» (1829), опубликованная под псевдонимом В. Алов, вызвала неблагоприятную критику, и Гоголь, скупив в магазинах нераспроданные

экземпляры, сжег ее. Подлинную славу молодому автору принесли «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832). Тогда же во многом стала определяться и судьба их автора: перепробовав многочисленные занятия, среди которых и государственная служба, и преподавание, Гоголь наконец находит дело жизни — писательство. Однако, как оказалось позже, его следующие сборники «Миргород» (1835) и цикл «петербургских повестей», драматические произведения, первое место среди которых, безусловно, надо отдать «Ревизору» (1836), становятся лишь подступами к великой теме — теме России, которая воплощена на страницах поэмы «Мертвые души», работа над которой шла с 1836 г. до последних дней жизни. «Мертвые души» создаются в Италии, где начиная с 1836 г. писатель живет практически постоянно. Именно там в 40-х гг. параллельно с работой над вторым томом Гоголь начинает создавать «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), книгу, которой суждено было сыграть печальную роль в судьбе писателя. Создавая ее, писатель берет на себя роль духовного пастыря, в слове которого, по его мнению, особо нуждается Россия. Однако достаточно резкая критика, с которой была встречена книга на родине, ее непонимание многими духовно близкими людьми, а также, как казалось Гоголю, неудачный второй том «Мертвых душ», беспредельная, если не сказать беспощадная, требовательность к себе привели к тяжелой болезни, сожжению второй части поэмы и преждевременной смерти, обстоятельства которой до сих пор овеяны тайной.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881), русский писатель. Родился в семье врача, его детство прошло в Москве, на Божedomке, во дворе больницы для бедных. В 1838 г. будущий писатель со своим старшим братом Михайлом по настоянию отца поступают в Главное инженерное училище в Петербурге. Там же, в столице, начинается его писательская карьера: в 1846 г. выходит из печати первое произведение — «Бедные люди». Однако блистательно начатая карьера была прервана поистине трагическим событием: привлеченный по делу петрашевцев, Достоевский был приговорен к смертной казни — этот эпизод своей жизни он описал в романе «Идиот» (1868), которая в самый последний момент была заменена четырехлетней каторгой. Четыре года, проведенные на каторжных работах в омском остроге, легли в основу «Записок из Мертвого дома» (1860—1862), там же на каторге был задуман роман «Преступление и наказание». Только в 1859 г., после нескольких лет принудительного заточения, писатель возвращается в Петербург. С этой поры начинается последний период его деятельности, отмеченный небывалой творческой активностью. Он много пишет, издает вместе с

братом журналы «Время» и «Эпоха». В 1866 г. начинает печататься в журнале роман «Преступление и наказание», который открывает «романное пятикнижие», в состав которого позже войдут «Идиот», «Бесы» (1871—1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1879—1880). В феврале 1867 г. в жизни писателя происходит счастливое событие: он обвенчался с Анной Григорьевной Сниткиной, «стенографкой», благодаря помощи которой ему удалось вовремя закончить «Игрока» (1866) и избежать кабального договора с издателем, мечтавшим лишить Достоевского авторских прав на его же собственные произведения почти на два десятка лет. В середине 70-х гг. начинает выходить «Дневник писателя» (1876—1877), блестящее публицистическое исследование современной жизни. К выступлениям в «Дневнике» примыкает речь Достоевского о Пушкине, произнесенная им на торжествах по случаю открытия в Москве памятника поэту в июне 1880 г. Через полгода после этого знаменательного события Достоевский умер, так что пушкинскую речь можно считать своеобразным итогом его творчества.

Есенин Сергей Александрович (1895—1925), русский поэт. Родился в с. Константиново на Рязанщине, в крестьянской семье. В 1912 г. приезжает в Москву. С первых же стихов — первое стихотворение «Береза» было опубликовано в 1914 г. — в его поэзию входит тема родины. В марте 1915 г. Есенин приезжает в Петроград, знакомится с Блоком, который высоко оценил «свежие, чистые, голосистые» стихи молодого поэта и дал ему рекомендательные письма. Революцию 1917 г. поэт принял, но «по-своему, с крестьянским уклоном», его послеоктябрьские стихотворения очень точно выразили мироощущения человека этой непростой эпохи. После революции Есенин сблизился с поэтами-имажинистами, а прозаическая работа поэта «Ключи Марии» (1920) стала их своеобразным манифестом. Скандальную славу Есенину принес поздний цикл стихов «Москва кабацкая» (1924). Подлинная трагедия большого поэта, «не вписавшегося» в эпоху, нашла свое отражение в поэме «Черный человек» (1925). Жизнь Есенина трагически оборвалась: утром 28 декабря 1925 г. он был найден мертвым в своем номере в гостинице «Англетер».

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), русский писатель. Рано лишившийся матери, будущий поэт остался на попечении бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, которая дала внуку блестящее домашнее воспитание. Писать начал рано, его первые произведения датируются 1828 г. В том же году Лермонтов поступил в Благородный пансион при Московском университете, студентом которого стал в 1830 г. Однако дела в университете шли далеко не гладко: юному студенту

припомнили участие в «маловской истории», когда студенты устроили обструкцию профессору М. Я. Малову. Эти обстоятельства вынудили Лермонтова подать прошение о переводе в Петербургский университет. Однако в 1832 г. Лермонтов под влиянием своего друга С. А. Раевского поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую заканчивает в 1834 г. Все это время поэт интенсивно работает. Его произведения постоянно публикуются, а сам Лермонтов мечтает о постановке только что законченной драмы «Маскарад» (1836). Начало 1837 г. принесло трагическую весть: смертельно ранен на дуэли Пушкин. На кончину своего кумира Лермонтов откликнулся стихотворением «Смерть Поэта». Это стихотворение положило начало «следствию о непроизвольных стихах», результатом которого был перевод Лермонтова в другой полк и отъезд на Кавказ, к месту службы. Ссылка, к счастью, была недолгой, и поэт вскоре вернулся в Петербург, где его имя и его стихи были у всех на устах. Однако вскоре за дуэль Лермонтов вновь был выслан на Кавказ, где принял участие в боевых действиях на р. Валерик, проявив «отменное мужество и хладнокровие», «с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы». За отличную службу поэт получает отпуск и возвращается в Петербург. К этому времени выходит из печати «Герой нашего времени» (1841). По окончании отпуска поэт едет на лечение в Пятигорск, где на вечере у одного из знакомых у него происходит ссора с И. С. Мартыновым, которая закончилась дуэлью. Дуэль состоялась вечером 16 июля у подножия г. Машук, Лермонтов от выстрела отказался, а Мартынов выстрелил. Жизнь Лермонтова, короткая и до последней минуты трагическая, прервалась. По иронии судьбы поэт по дороге к месту дуэли рассказывал о своих планах: у него созрели замыслы двух романов, он мечтал выйти в отставку и посвятить себя исключительно творчеству.

Мандельштам Осип Эмилевич (1891—1938), русский поэт. Детство провел в Петербурге, окончил Тенишевское училище, затем учился в Сорбонне, Гейдельбергском и Петербургском университетах. В молодости очень увлекался революционными идеями, даже пытался вступить в боевую эсеровскую организацию, но не был принят. Еще в гимназии проявился интерес Мандельштама к современной поэзии, а знакомство с Гумилевым и Ахматовой окончательно определило его дальнейшую судьбу. Вместе с ними он стоит у истоков акмеизма, активно участвует в создании «Цеха поэтов». Первый сборник его стихотворений «Камень» выходит в свет в 1913 г. Стихи времени войны и революции составили книгу стихов «Tristia» (1922). Первые годы революции Мандель-

штам много странствует, а по возвращении обосновывается в Москве. В 20-е гг. поэт обращается к прозаическим жанрам, работает в качестве переводчика и продолжает писать стихи. Его последний поэтический сборник вышел в свет в 1928 г., однако число новых стихотворений в нем чрезвычайно незначительно. В мае 1934 г. за стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...», направленное лично против Сталина, был арестован и сослан, сначала в Чердынь, а потом в Воронеж, где и создал последний в своей жизни стихотворный цикл «Воронежские тетради», опубликованный в 1966 г. После возвращения из ссылки и мучительных бесприютных месяцев бездомья, безденежья и безысходности в мае 1938 г. был вторично арестован, осужден на каторжные работы. Погиб зимой этого же года в одной из пересылок ГУЛАГа (точная дата смерти и могила неизвестны).

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930), русский поэт. «Я — поэт, этим и интересен» — так Маяковский определил главное дело своей жизни. Родился он в Грузии в с. Багдади в семье лесничего. В 1906 г. после внезапной и нелепой смерти отца семья переехала в Москву. Оказавшись в самом центре недавних революционных событий, Маяковский сразу определяет область своих дальнейших интересов — живопись и партийная работа. Последняя закончилась после «одинадцати бутырских месяцев», именно там, в Бутырской тюрьме, определилось главное: «Хочу делать социалистическое искусство». В 1910 г. во ВХУТЕМАСе, где поэт продолжил учебу, произошло его знакомство и сближение с Давидом Бурлюком. Вместе они выбирают футуризм как творчество будущего во всех сферах бытия, начинаются их поездки по России. Выступления футуристов всегда сопровождала атмосфера эпатажа и скандала, но они же открыли талантливейшего поэта Владимира Маяковского. Его ранние стихотворения, поэма «Облако в штанах» (1915) сделали его значительной фигурой в литературе «серебряного века». Октябрьскую революцию молодой поэт принял восторженно. И «наступив на горло собственной песне», служил ей честно и преданно: работал в «Окнах сатиры» РОСТА, много писал на потребу дня, был настоящим «полпредом стиха» и родной страны в многочисленных поездках за рубежом. Прославился и как сатирик: создал пьесы «Баня» (1930) и «Клоп» (1929), блистательно поставленные Мейерхольдом. Но, наверное, не все было так просто и беспечально: 14 апреля Маяковский покончил счеты с жизнью. А после этого умер еще раз, превращенный в «лучшего поэта советской эпохи», замусеенный, выхолощенный и растащенный на плакатные цитаты.

Мольер (псевдоним, настоящее имя Жан Батист Поклен) (1622—1673), великий французский драматург. Родился в буржуазной семье и должен был унаследовать профессию своего отца, придворного обойщика, или стать юристом, но решил выбрать ремесло актера. Успех пришел к Мольеру, когда в 1658 г. его труппа показала Людовику XIV комедию «Влюбленный доктор». Вообще в творчестве Мольера начал складываться новый жанр — «высокая комедия», которая, по словам А. С. Пушкина, «близко подходит к трагедии». Такова, например «Школа жен» (1662). Но славу и поистине будущий мировой успех принесли Мольеру комедии 1664—1670 гг.: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве». Когда Мольер стал знаменитым французским драматургом, Французская академия предложила ему стать академиком, но при условии, что он порвет с театральной деятельностью. Мольер отказался: он умер в своем театре сразу после представления его последней комедии «Мнимый больной», где он исполнял главную роль. И только после длительных хлопот его вдовы и личного указания короля его удалось похоронить по христианскому обряду, против чего возражала церковь.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877/78), русский поэт. Детские годы поэта прошли на Волге, его отец Алексей Сергеевич был человеком крутого нрава, и от него в доме страдали все: и крестьяне, и слуги, и домочадцы. Именно из дома отца вынес будущий поэт исключительную чуждость к чуждому страданию. В 1838 г. шестнадцатилетним, с заветной тетрадкой стихов собственного сочинения, Некрасов отправился в Петербург, где, вопреки воле отца, решил поступать в университет. Разрыв с семьей оказался неминуем. Однако первый поэтический сборник «Мечты и звуки» не принес желанной славы, и потекли суровые будни литературной поденщины. Поворотным в судьбе Некрасова стал 1843 г., когда произошла его встреча с В. Г. Белинским, критиком, кумиром демократически настроенной молодежи. Несколькими годами позже, в 1847 г., Некрасов стал во главе журнала «Современник», едва ли ни лучшего журнала 50—60-х гг. прошлого столетия. Постепенно приходит и слава: стихи Некрасова становятся не просто популярными, а самыми любимыми в среде разночинной интеллигенции. Особенно счастливую судьбу имел сборник 1856 г., открывающийся программным стихотворением «Поэт и гражданин» (1856). А некрасовская «Тройка» (1846) становится народной песней. Центральная тема Некрасова — тема народа — нашла свое воплощение в поэмах «Коробейники» (1861) и «Мороз, Красный нос» (1863—1864).

Смерть прервала работу над эпопеей народной жизни, поэмой «Кому на Руси жить хорошо» (1863—1877).

Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Родился в семье известного художника Л. О. Пастернака, его детство прошло в атмосфере искусства, самые отчетливые воспоминания — Л. Н. Толстой, с которым был знаком отец, стихи Р. М. Рильке, музыка А. Н. Скрябина. К стихам пришел через занятия музыкой и философией. Первый сборник «Ближе в тучах» был издан в 1914 г. Кумир поэтической юности — Маяковский. В историческом для России 1917 г. выйдет второй сборник «Поверх барьеров», тогда же начнет создаваться и формироваться третий сборник стихов — «Сестра моя — жизнь» (1922), название которого говорит само за себя и очень точно определяет поэтическое кредо Пастернака. После выхода этого сборника в свет Пастернак становится одним из самых популярных поэтов, много пишет, публикуется. Но постепенно сотрудничество с властью вылилось в противостояние ей и закончилось созданием романа «Доктор Живаго» (1957). Публикация романа за рубежом и Нобелевская премия, присужденная в 1958 г. за роман, сопровождались скандалом и откровенной травлей поэта, которая закончилась исключением из Союза писателей. В последние годы жизни раскрылись новые грани таланта Пастернака: его переводы Шекспира общепризнаны. В 1987 г. постановление об исключении было отменено, а в 1988 г. роман вышел в свет.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), великий русский поэт. «Наше все» — так сказал о нем Ап. Григорьев. Родился в Москве, его мать — урожденная Ганнибал — двоюродная внучка «арапа Петра Великого». В 1811 г. он поступает в Царскосельский лицей, который на всю жизнь станет его настоящим Домом. Именно в Лицее он определил свой выбор: «Мой жребий пал — я лиру избираю». В Лицее на переводном экзамене в присутствии Г. Р. Державина было прочитано «Воспоминание в Царском Селе», позже напечатанное в одном из журналов впервые за полной подписью автора. В 1817 г. Пушкин был выпущен из Лицея в чине коллежского секретаря и направлен на службу в Коллегию иностранных дел. С 1818 г. можно говорить о творческом пути поэта, в котором традиционно выделяют несколько периодов. Петербургский (1818—1820), который едва не закончился высылкой поэта в Сибирь за то, что «наводнил Россию возмутительными» вольнолюбивыми стихами. Однако усилиями друзей ссылка была заменена переводом по службе, а фактически тоже ссылкой, сначала на юг России в Одессу и Кишинев, а в 1824 г. в родовое имение Михайловское. Поэтому второй пери-

од творчества датируется годами пребывания в ссылках (1821—1826), он ознаменован расцветом романтизма в творчестве («южные поэмы»), а также выработкой новых, реалистических принципов изображения действительности («Борис Годунов» (1824—1825), стихотворения периода северной ссылки). По царскому повелению ссылка была прервана, и опальный поэт «возвращен» в столицу. В Москве и Петербурге он проводит следующие четыре года жизни. Центральным событием этого периода (1827—1830) стала Болдинская осень (1830). Поехав перед свадьбой приводить в порядок свои денежные дела, Пушкин из-за холерного карантина вынужден был находиться в Болдине, небольшом имении, доставшемся ему по наследству. Именно там закончен «Евгений Онегин», начатый еще в Кишиневе, написаны «маленькие трагедии», «Повести Белкина», более тридцати стихотворений. Зимой 1831 г. поэт женился на Наталье Николаевне Гончаровой и вскоре с молодой женой переехал в Петербург. Последний петербургский период (1831—1837) ознаменовался интенсивной работой: написаны «Дубровский» и «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и «Медный всадник», десятки стихотворений. Пожалуй, это самый сложный период в жизни поэта, сложный своими отношениями с читателями и властью, отношениями в семье, грязными сплетнями и клеветой, которые буквально отравили последние дни его жизни. Незадолго до смерти Пушкин решает издавать журнал для семейного чтения, так появляется «Современник», которому уготована была долгая жизнь в литературе. 27 января (по старому стилю) состоялась дуэль Пушкина с Дантесом, полученное ранение оказалось смертельным, 29 января поэта не стало. Похоронен Пушкин в Святогорском монастыре, рядом с родителями.

Распутин Валентин Григорьевич (род. в 1937), русский писатель. Для его творчества характерен драматизм и острота постановки этических проблем, поиски нравственной опоры в мире народной крестьянской нравственности. Его повести и рассказы о современной жизни: «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матерой» (1976), «Век живи — век люби» (1982), «Пожар» (1985) и др. явились продолжением лучших традиций русской литературы XIX в. Книги выдающегося современного русского писателя В. Г. Распутина по праву вошли в золотой фонд современной русской литературы.

Сервантес Сааведра Мигель (1547—1616), великий испанский писатель. Сын лекаря из обедневшего дворянского рода, его детство прошло в жестокой нужде и постоянных странствиях в поисках средств к существованию. Он вел бродяжническую жизнь: учился в иезуитской школе в Мадриде,

был ключником у папского посла в Риме, затем служил в испанской армии. Многократные тюремные заключения, ранение в морской битве в 1570 г., в результате которого он лишился руки, пятилетний плен у пиратов в Алжире, где он был продан в рабство, — лишь эпизоды его трудной и драматичной судьбы, к ударам которой он относился с мудрым спокойствием. За свое первое произведение — пасторальный роман «Галатея» (1585) — Сервантес взялся, чтобы хоть как-то вырваться из нужды. Задуманное не удалось, и государственная служба по сбору налогов в провинции, на которую он вынужден был поступить, принесла ему еще больше неприятностей и закончилась заключением за решетку. В тюрьме он и создал первую часть «Дон Кихота» (1605, вторая часть — 1615), книги, с которой, по словам Белинского, «началась новая эра искусства». Свой роман автор предназначал детям и мудрецам. Таким он и остался в чтении поколений последующих веков.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), русский писатель. Детские годы писателя прошли в родовом имении матери Спасское-Лутовиново, потом семья переехала в Москву. Впечатления детства позже отразились в его повести «Первая любовь» (1860). Однако путь в литературу был достаточно сложным: в Германии Тургенев изучал философию и всерьез задумывался о научной карьере. 1843 г. стал определяющим в жизни писателя: вышло из печати его первое произведение поэма «Параша» и состоялась встреча с В. Г. Белинским, «вождем и учителем». Однако настоящая известность пришла к Тургеневу в 1847 г., когда в журнале «Современник», у истоков которого он стоял, был опубликован рассказ «Хорь и Калиныч», первый из будущего сборника «Записки охотника». Современники называли писателя «барометром эпохи»: его романы «Рудин» (1856), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Новь» (1877) затрагивали актуальнейшие вопросы российской жизни и вызывали бурную полемику. Да и саму жизнь Тургенева тоже вряд ли можно назвать спокойной: ему пришлось пережить арест и ссылку, разрыв с журналом «Современник», обвинение в плагиате и третейский суд, оправдавший его, сложные перипетии личной жизни. На склоне лет, находясь вдалеке от России, Тургенев создает цикл «Стихотворений в прозе» (1877—1882), который вобрал в себя основные темы и мотивы творчества и одновременно явился своеобразным прощанием с жизнью, с родиной, с искусством. Завершает цикл «Русский язык», лирический гимн языку, на родине, Родине.

Уайльд Оскар (1854—1900) (подлинное имя Оскар Фингал О'Флаерти Уиллс), английский писатель. Родился в Дублине, в ирландской семье. Отец его был врачом, мать —

писательницей. Литературный дебют Уайльда состоялся в 1887 г., когда вышли из печати его юмористические рассказы, в числе которых «Кентервильское привидение». В 1888 г. был опубликован сборник сказок. Наиболее яркими из них оказались «Звездный мальчик», «Преданный друг» и «Счастливый принц». Однако центральным произведением Уайльда стал роман «Портрет Дориана Грея» (1890), который принес писателю скандальную известность. А потом были пьесы, «легкомысленные комедии для серьезных людей», лучшей из которых по праву считается «Как важно быть серьезным» (1895). В конце своей жизни Уайльд сказал: «Писать о жизни нельзя — ею можно только жить. И я жил». И дурачил, и злил обывателей. И они не отличили сути от маски в его жизни. Был процесс, суд, скандал, тюрьма, опыт которой воплотился в «Балладе Редингской тюрьмы» (1898) и «Тюремную исповедь», увидевшую свет уже после смерти автора.

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941), русский поэт. Родилась в Москве, ее отец Иван Владимирович Цветаев — основатель Музея изящных искусств. Годы детства Цветаевой прошли в Москве, Тарусе, а также в Лозанне и Фэйбурге, куда привела ее болезнь матери. В октябре 1910 г. Цветаева, еще ученица гимназии, опубликовала свой первый стихотворный сборник «Вечерний альбом». Новое имя заметил поэт М. Волошин, их скорое знакомство во многом определило дальнейшую судьбу молодой Цветаевой: в его доме в Коктебеле она познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном, Волошин же ввел ее в круг близких ему людей искусства. Сборник 1921 г. «Версты» стал этапным в творчестве Цветаевой, так как в нем достаточно четко обозначились исконно цветаевские темы: Россия, поэзия, любовь. Ни Февральскую, ни Октябрьскую революции Цветаева близко не восприняла, сознательное отдаление себя от политики обернулось непониманием происходящего, однако истинный голос поэта начинает звучать именно в это время. С увлечением пробует себя Цветаева в драматургии: шесть пьес написано ею для театра-студии МХАТ, в том числе «Конец Казановы». В мае 1922 г. с дочерью Ариадной уезжает за границу, в Прагу, где в это время находится ее муж, попавший туда после разгрома белого движения. В 1925 г. после рождения сына Георгия семья перебирается в Париж. Этот период, до возвращения в 1939 г. в Советский Союз, — самый плодотворный в творческой биографии поэта. Несмотря на очень сложное положение в литературной среде («вне группировок»), Цветаева — самый печатаемый поэт русской эмиграции. В это же время она пробует свои силы в прозе: пишет небольшие рассказы-эссе, воспоминания, литературно-критические статьи,

среди которых особое место занимает «Мой Пушкин» (1937). В 1939 г. вслед за дочерью и мужем возвращается на Родину. К сожалению, именно здесь ей суждено пережить самые тяжелые дни: арест мужа и дочери, отлученность от читателей, невозможность работать так, как привыкла. Разразившаяся война только усугубила трагедию поэта, судьба забросила ее в Елабугу, где 31 августа 1941 г. она покончила с собой.

Чехов Антон Павлович (1860—1904), русский писатель. Родился в Таганроге, был третьим ребенком в большой купеческой семье. В 1876 г. его отец разорился, и семья вынуждена была перебраться в Москву. В 1879 г. Чехов, окончив таганрогскую гимназию, приехал в Москву к родителям и поступил на медицинский факультет университета. Практически сразу же начинается сотрудничество писателя с многочисленными юмористическими журналами. Его литературным дебютом стал рассказ «Письмо к ученому соседу» (1880). Ранние юмористические произведения составили первый сборник писателя «Пестрые рассказы» (1886). Полученное в тот же год письмо старейшего русского писателя Д. В. Григоровича заставило несколько по-иному взглянуть на собственное творчество. Переломным моментом жизненной и творческой биографии стала поездка в 1890 г. на о. Сахалин. Результатом поездки стала книга очерков «Остров Сахалин» (1895). Вернувшись в Москву, Чехов много работает: «Студент» (1894), «Человек в футляре» (1898), «Дом с мезонином» (1896), «Дама с собачкой» (1899) — рассказы, которые принесли писателю широкую известность и сделали кумиром русской интеллигенции. Тогда же писатель начал активно писать для театра. Премьера «Чайки» (1896) завершилась грандиозным провалом, однако уже на следующий год была с блеском поставлена в только что открывшемся Московском Художественном театре. С этого времени МХТ становится «театром Чехова», а чайка — его эмблемой. Все последующие чеховские пьесы: «Дядя Ваня» (1897), «Три сестры» (1901), «Вишневый сад» (1904) — прежде всего ставятся в этом театре или прямо пишутся с расчетом на его актеров. Умер Чехов в 1904 г. в Банденвейлере.

Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург, поэт. Документально подтвержденных свидетельств о жизни Шекспира сохранилось чрезвычайно мало, скудость достоверных фактов породила множество биографических легенд и даже поставила под сомнение факт существования самого писателя. Доподлинно известно то, что Шекспир был связан с лондонским театром «Глобус», на подмостках которого с огромным успехом шли его трагедии, комедии, исторические хроники. В целом же в его творчестве традиционно выделяют

ся несколько периодов: первый — 90-е гг. XVI в., в это время написаны почти все хроники и большая часть комедий, среди которых и знаменитые «Двенадцатая ночь» и «Много шума из ничего»; второй — 1600—1608 — «период великих трагедий», когда были написаны «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», первая из них создается параллельно с сонетами; третий — 1608—1613, в эти годы в творчестве драматурга начинает складываться смешанный жанр трагикомедии. Последние годы — самый «таинственный» период жизни Шекспира: связи с театром, собственно-стью которого и являлись пьесы, прервались, драматург возвратился на родину, в свой родной город Стрэтфорд, и единственное, что вышло из-под пера Шекспира в эти три года, — заветание, в котором виден рачительный горожанин, но не великий писатель. Этот факт и молва о том, что Шекспир не придумывал сюжеты, а заимствовал их, породили так называемый «шекспировский вопрос», вопрос об авторстве пьес.

Шолохов Михаил Александрович (1905—1984), русский писатель, лауреат Нобелевской премии, которую он получил в 1965 г. за роман-эпопею «Тихий Дон». Выходец из семьи казаков. В литературу Шолохов пришел в 1926 г., когда были опубликованы его «Донские рассказы». Годом раньше датируется начало работы над романом «Тихий Дон», который был закончен в 1940 г. Чего только не происходило в жизни Шолохова в эти годы: и выход в 1932 г. первой книги «Поднятой целины», прославляющей коллективизацию, и страшный 1938 г., когда писатель чудом избежал ареста. Да и вообще много чего намешано в жизни и творческой биографии писателя: активная творческая жизнь до войны, Нобелевская премия и обвинение в плагиате, которое на какое-то время поставили под сомнение авторство «Тихого Дона», пронзительный рассказ «Судьба человека» (1956—1957), достаточно одиозные выступления по вопросам развития советской литературы и многолетнее молчание, по существу, с середины 50-х гг. Безусловно, время вносит и еще внесет поправки в его образ художника и человека, но уже сейчас очевидно: имя Шолохова в числе первых в литературе XX в.



Содержание

ПРОЛОГ

Самозахват. Естественнo-разговорное представление	3
---	---

Повторение пройденного	7
-------------------------------	---

Жанры	7
-------	---

Литературные роды	10
-------------------	----

Человек в литературе	15
----------------------	----

Семинар. Человек и литература	17
-------------------------------	----

Творческий практикум	18
----------------------	----

Литературные традиции	21
-----------------------	----

Семинар. Литературные традиции	21
--------------------------------	----

Творческий практикум	22
----------------------	----

АВТОР — ОБРАЗ — ЧИТАТЕЛЬ

В начале бесконечной дороги	24
------------------------------------	----

Зачем мы читаем?	25
------------------	----

Зачем мы изучаем литературу?	27
------------------------------	----

Снова об интерпретации.	28
-------------------------	----

Часть и целое	29
---------------	----

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Средние века: эпоха рыцарей или поэтов?	32
--	----

Ук де ла Бакалариа. «Вместо нежного привета...»	
---	--

Перевод В. Дынник	34
-------------------	----

Рудольф фон Фенис. «Должно быть, сам себе	
---	--

я враг исконный...» Перевод В. Микушевича	36
---	----

Безымянный поэт. Любовь к филологии. Перевод	
--	--

Л. Гинзбурга	38
--------------	----

Советы библиотеки	38
-------------------	----

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Возрождение	40
У. Шекспир. Ромео и Джульетта	42
Тема — мотив — сюжет — жанр	44
<i>Творческий практикум</i>	47
М. де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот	
Ламанчский. <i>В сокращении. Перевод Н. Любимова</i>	47
Чудак?.. Безумец?.. Герой?.....	78
<i>Творческий практикум</i>	81
<i>Советы библиотеки</i>	82

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Литературное направление и эпоха	84
Мольер. Первое прошение королю по поводу комедии	
«Тартюф». Второе прошение, поданное королю в лагере	
перед городом Лиллем во Фландрии. Предисловие.	
Тартюф, или Обманщик. <i>В сокращении. Перевод</i>	
<i>М. Донского</i>	86
<i>Творческий практикум</i>	101
Просветительский реализм	102
<i>Творческий практикум</i>	104
<i>Советы библиотеки</i>	104

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

«Золотой век» русской литературы	106
С. П. Залыгин. На пороге будущего	106
А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»	107
Пушкин — писатель или поэт?	108
П. В. Палиевский. О границе между прозой и поэзией	
у Пушкина	109
Русский роман	111
А. С. Пушкин. Капитанская дочка	115
<i>Творческий практикум</i>	224
Судьба — случайность или предопределенность?	225
А. С. Пушкин. Медный всадник.	
<i>Петербургская повесть</i>	227
<i>Семинар. Два бунта</i>	241
<i>Творческий практикум</i>	243
М. Ю. Лермонтов	243
Смерть Поэта.	244
Парус.	247
Молитва	247
<i>Творческий практикум</i>	248

Н. В. Гоголь. Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору. Ревизор	248
Городничий, Хлестаков и «честное лицо» пьесы	256
Снова о мотивах и преемственности сюжетных линий и образов	260
Единичное, особенное, всеобщее	261
«Город пышный, город бедный...»	263
Н. В. Гоголь. Шинель	264
<i>Творческий практикум</i>	300
Краткий библиографический словарь писателей	302

Учебное издание

В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

9 класс

В двух частях

Часть 1

Авторы-составители:

**Кутузов Александр Геннадиевич
Киселев Александр Константинович
Романичева Елена Станиславовна
Леденева Виктория Владимировна**

Зав. редакцией *Е. В. Ермакова*

Ответственный редактор *Г. Г. Полубинская*

Редактор *Н. В. Сечина*

Оформление *Т. Е. Добровинская-Владимирова*

Художники *В. В. Васильев, С. В. Иващук*

Технический редактор *Е. А. Лапсарь*

Компьютерная верстка *Г. В. Климушкина*

Корректор *Е. В. Морозова*

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.03.953.Д.004992.08.05 от 16.08.2005.

Подписано к печати 27.03.06. Формат 60×90^{1/16}.

Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 20,0. Тираж 30 000 экз. Заказ № 14356 (К-Гз).

ООО «Дрофа». 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
просим направлять в редакцию общего образования издательства «Дрофа»:
127018, Москва, а/я 79. Тел.: (495) 795-05-41. E-mail: chief@drofa.ru

По вопросам приобретения продукции
издательства «Дрофа» обращаться по адресу:

127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Тел.: (495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52.

Торговый дом «Школьник».

109172, Москва, ул. Малые Каменщики, д. 6, стр. 1А.

Тел.: (495) 911-70-24, 912-15-16, 912-45-76.

Сеть магазинов «Переплетные птицы».

Тел.: (495) 912-45-76.

ОАО «Смоленский полиграфический комбинат».

214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.



Дрофа

мире литературы 9 кл Уч
рестоматия 1 ч Кузнецов



9 785358 052000

9 785358 009509